

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВУШКИ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

НЕВЕСТА

Я не могла не быть рассудительною. Я выросла в таком семействе, в таком состоянии, в таком кругу.

Мой отец поступил на службу четырнадцати лет. Он писал хорошим почерком; тем и ограничивалось все, чему он учился. — В 1850 году, когда мне было семнадцать лет, он давно занимал должность столоначальника, знал, что не подвинется выше, и с давнего времени был доволен своим положением. — Моя мать также ничему не училась, но была охотница читать. Когда я стала взрослою девушкою, отец уж имел привычку слушать, если мы с маменькою и братом читали вслух. Иногда, он даже просил нас читать. Брат, годом старше меня, кончал курс в гимназии и собирался в следующем году ехать в университет. У меня была сестра, пятью годами моложе меня.

Мы жили в своем доме. Он достался в наследство матери вскоре после ее замужества. Он был деревянный, в пять окон на улицу, в три на двор; с мезонином, балкон которого смотрел на Волгу. В другом конце двора, стоял флигель, такой же величины, как дом, но без мезонина; поэтому он и назывался флигелем.

В нем уже около двадцати лет жили Каталонские. У них было несколько больше средств, чем у нас: Каталонский служил в удельной конторе, и получал до тысячи рублей. Но их семейство было больше нашего, и Анна Ларионовна должна была припасать четыре приданых, а не два, как маменька. Их старший

сын, Аркаша, был товарищем моего брата по гимназии. Их старшая дочь, Машенька, была двумя годами моложе меня. Мы все четверо росли вместе и были как родные.

Это потому, что и наши старшие были очень дружны. Машенька и Анна Ларионовна виделись решительно каждый день, иногда по нескольку раз; почти каждый вечер или мы всем семейством проводили у Каталонских, или они у нас.

Их и наши родные были такие же небогатые, скромные люди, как мы и они. Были у нас с ними и знакомые; все такие же.

Мой отец и Каталонский выпивали перед обедом по рюмке домашней горькой настойки. Но никогда не видела я ни в нашем доме, ни у Каталонских, никого пьяного, даже из гостей: и мой отец, и Каталонский ненавидели это.

Я не помню также, чтоб я слышала когда-нибудь у них, или у нас разговоры нескромного тона, грубые слова, замечала семейные ссоры. Мой отец и мать жили между собою совершенно согласны. Каталонские также. Все четверо, они были люди деликатные, благородные. Такие же добрые люди были все те, кого я часто видела у нас или у Каталонских.

Весь этот круг ограждал себя от голода, холода, лохмотьев только строжайшей экономией. Все хозяйки нашего общества помогали своим кухаркам стряпать; все считали рубль очень важной суммой, дорожили каждой копейкой, и не только они, а также и мужья их не имели никаких прихотей.

Поэтому, дамы нашего общества имели по два, даже и по три шелковых платья.

Поэтому, дочери их были одеваемы, как хорошие барышни, и имели приданые, кроме белья и платьев, по нескольку сот, даже по тысяче рублей.

Я была одною из этих немногих. У нас лежал в ломбарде билет; с процентами, которые нарастали на него много лет, он составлял в 1850 году 950 рублей. Он весь назначался за мною. На содержание брата, когда он поедет в университет, и потом на приданое моей младшей сестры предполагалось заложить дом; он выкупится лет в семь: много ли надо старикам, когда обе дочери будут пристроены, сын на службе.

Итак, я была хорошою невестою, по нашему кругу. Я также считалась в нем одною из образованных барышень.

Матушка учила меня всему, чему могла: арифметике, географии, русской истории, катехизису. Старалась научиться сама грамматике, чтобы выучить меня. Для меня было куплено фортепьяно, и я с год брала уроки у старушки, которая в прежние времена вероятно умела играть хорошо. Французский язык был вовсе неупотребителен в нашем кругу. Танцевать умели мы все. Очень многие из нас, барышень, любили читать.

Никто из наших родных не покупал книг, не выписывал журналов. Но охотницы и охотники до чтения между нами считали

обязанностью со всеми делиться книгами, какие успевал кто достать на прочтение. Потому, недостатка в книгах не было. Я рано полюбила их.

Но жизнь, в которую я была погружена, не дозволила мне сделаться девушкою неблагоразумною.

На моих руках лежала половина хозяйства. Я много шила; я выдавала припасы кухарке и каждый день бывала на кухне; я помогала другой нашей служанке убирать комнаты; я смотрела за нашими двумя коровами: я не доила их сама, но всегда наблюдала, как дают им корм; я не мыла белья, но сама мыла свои наряды и уборы матери; я вышивала платки на продажу. Я учила сестру и переписывала довольно много бумаг для отца.

Отец и мать говорили обо всех своих делах при нас: у них не было ни воспоминаний, ни интересов, о которых нельзя было бы говорить при детях. Я знала служебные отношения отца. Я знала наши средства, свое приданое. Я знала все принципы нашего скромного быта.

Я была проникнута ими, потому что они преподавались мне самою жизнью. Я любила их потому, что они применялись к нашей семейной жизни честно, деликатно, людьми добрыми, безукоризненными; потому, что я безусловно уважала и от всей души любила этих людей; потому, наконец, что мне было хорошо в моем тихом семействе, под нежным крылом умной, кроткой матери, при заботливой деликатности отца. С младенчества я была вскормлена рассудительностью и знала, что без нее нельзя жить людям нашего состояния.

Поэтому, я очень хорошо понимала, какова должна быть моя будущность. Я знала, что я невеста и что мне надобно думать о замужестве.

Я выросла в честном семействе, где не было никакого интриганства, где гнушались низкими уловками, не раскидывали никаких сетей, никому, ни по каким делам. Поэтому, я не кокетничала, не ловила женихов. Но я ждала их, совершенно понимая мою обязанность перед моим семейством и собственным рассудком выйти за первого такого, с которым можно жить без неприятностей, без обид и нужды. Я не имела ни тени мысли уклониться от исполнения этого правила жизни небогатых людей.

Я знала, что я еще очень молода; поэтому, нисколько не заботилась о том, скоро ли представится мне случай пристроиться — так называют в том кругу «выйти замуж». Но зная, что у меня есть время ждать этого случая и два, и три года, я находила, что приму без огорчения, если он представится скоро, хоть завтра же.

Я даже предполагала, что он не заставит ждать себя долго. Прошлою зимою меня сватали два жениха. Тогда мать и отец, вовсе не спрашивая меня, отвечали, что я еще слишком молода. Женихи нашли себе других невест, не убиваясь отказом. Я еще меньше печалилась, потому что очень мало знала этих молодых

людей; а главное потому, что привыкла считать священной волю отца и матери, всегда согласную, привыкла находить их решения самыми благоразумными. Я была послушной дочерью не только на словах, не только в поступках, но и в сердце.

Если на семнадцатом году я имела двух женихов, — думала я, — то вероятно скоро посватает меня кто-нибудь теперь, когда мне восемнадцатый год, когда папенька и маменька перестали в своих разговорах отзываться обо мне, как о ребенке, которого еще рано считать невестою.

Поэтому, я довольно часто перебирала в своих мыслях молодых людей, которых встречала в знакомых семействах, сравнивая их средства к жизни, характеры, и находила, что некоторые из них — очень хорошие женихи. Мне было приятно, что все они пользовались таким же выгодным мнением и у моей матери. Это показывало мне, что я умею правильно судить о людях.

Во всем этом не было ни искры поэзии, я согласна. Но я очень понимала, что романические фантазии не годятся для девушки моего состояния; да и не было в моей жизни ничего, возбуждавшего к ним.

Я была рассудительною невестою, ожидавшей жениха.

Жених явился осенью 1850 года. Мне было тогда 17 лет с половиною.

Изредка, встречала я в нескольких знакомых семействах столоначальника палаты государственных имуществ Волкова. Мы танцовали с ним раза два; он показался мне человеком неглупым. Ему было 27 лет. Он кончил курс в гимназии; хорошо служил, мог рассчитывать на то, что со временем будет ассессором, когда-нибудь — почему знать? — даже советником. Он был человек честный, трезвый, скромный. В его наружности не было ничего отталкивающего; напротив, скорее он был недурен собою. Когда я перебирала людей, которые считались у нас хорошими женихами, я не забывала его, и он попадал в число пяти, шести человек, о которых я думала: «за кого-нибудь из них, очень можно итти».

И что же? — Вот отметка из моего дневника:

«14 (октября 1850). Волков, который был у нас с первым визитом в прошлое воскресенье, был опять. Кажется, он хочет сватать меня. Как я вздумала это, он стал противен мне».

На другой день поутру, когда отец ушел в должность и мы сидели одни с маменькой, она положила в сторону свое шитье и сказала: — «Лиза, я хочу поговорить с тобой. — Ты невеста и должна рассуждать благоразумно. Федор Васильевич Волков делал вчера нам с твоим отцом намеки, что думает сватать тебя. Ты мало знаешь его; но твоему отцу он хорошо известен. Он прекрасный человек и выгодный жених».

— Маменька, он не нравится мне, — проговорила я, задыхаясь от усилия, которого стоили мне эти слова.

— Чем же, Лиза? — кротко спросила мать.

— Чем? — я сама не понимала.

— Не бойся, Лиза, скажи, чем не нравится он тебе, чтобы мы с тобою вместе рассудили, важно это или нет, — говорила матушка своим серьезным и добрым голосом, — не бойся сказать, чем же.

— Я сама не знаю... Всем... у него дурные манеры, маменька, — вдруг прибавила я, сама не понимая, как это сказало у меня.

— Дурные манеры? — с грустным удивлением повторила матушка. — Лиза от тебя ли я слышу это, моя умница, моя бедненькая?

— Маменька, я сама чувствовала, что я говорю глупость! — Я залилась слезами, и убежала в мою комнату.

Я плакала там до самого обеда; не о том, что меня будут принуждать идти за Волкова: я не сомневалась в доброте отца и матери; они простят мне, думала я. Я плакала от стыда за себя перед ними, и еще больше, перед самою собой.

«Неужели я такая пустая девушка? — думала я. — Разве я не понимаю, что хорошие манеры вовсе не нужны для счастья жизни? И у кого в нашем обществе манеры лучше, чем у Волкова? И какие манеры у меня самой? Что я видела, где я была вне нашего общества? Что ж это я вздумала? Господи, зачем я такая пустая девушка?»

Мне хотелось показать отцу и матери, что я умная девушка, послушная дочь; мне хотелось избавиться от стыда перед собой. Я старалась переломить себя: доказывала себе, что Волков хороший жених; говорила себе, что обязана, — чувствовала, что обязана идти за него... Нет, не могу, противен.

Матушка сама пришла на мезонин ко мне, звать меня к обеду. Мне кажется, что если б она пришла раньше, если б не дала мне утомиться упреками самой себе наедине, у меня не достало бы силы удержаться от желания переломить себя, показать свою рассудительность; — мне кажется, я отвечала б на ее ласки и успокоения: — «маменька, я не глупая девушка, я согласна идти за него». Она хорошо знала меня, не хотела принуждения и дала мне выплакать мою досаду на себя. — «Довольно реветь, глупенькая. О чем? Пойдем обедать». — Она взяла меня за руку и повела почти насильно. — «Или ты думаешь, что мы с твоим отцом станем принуждать тебя? С чего ты взяла это, дуручка?»

Прошло два дня; и не было разговора о Волкове. Но мне все не верилось, что можно допустить такой каприз во мне; все казалось, что меня следует бранить; я сама не знала, не рада ли была бы я, если бы строго сказали мне: «Ты сама должна видеть, что ты глупа, и что нечего смотреть на твои капризы. Мы приказываем тебе идти за Волкова. Мы лучше тебя понимаем твою

пользу. Слушайся». — Мне казалось, что я была бы довольна таким принуждением; я ждала его с ожесточением на себя. Я была, как опущенная в воду. — «Глупая, пустая девочка!» — твердила я себе.

— Лиза, пора же ободриться, — сказала наконец мать. — Давай говорить, если так. Зачем ты так убиваешься? Волков не нравится тебе, этого довольно для нас, потому что ты у нас умная, не капризница...

— Маменька, я капризница, я гадкая дочь! — вскричала я. — Побраните меня, прикажите мне итти за него... Я хочу быть умной, послушной.

— Нет, — сказала мать, лаская меня, — мы не станем принуждать тебя. Твой отец уж дал понять ему, безо всякой обиды для него. Успокойся же. И зачем так сердиться на себя? Чем же ты виновата, если он не нравится тебе.

— Маменька, я сама не знаю, чем он не нравится мне. Это был только мой гадкий каприз...

— Дурочка, когда ж ты была капризницею? Ты только не умеешь объяснить себе, почему он не нравится тебе; что ж такое? Это еще не значит, что ты капризничаешь. Очень часто бывает, что не умеешь отдать себе отчета, почему один человек приятен, другой неприятен.

— Маменька! как я рада, что вы не сердитесь на меня что вы не принуждали меня! — Я бросилась целовать ее.

— Успокоилась ли, Лиза? — сказала матушка, когда я опомнилась от радости. — Видишь сама, какая ты смешная? Все боялась, что мы будем принуждать тебя, — с чего ты взяла это, глупенькая! Но давай же говорить хорошенько. Волков не понравился тебе — и бог с ним. Но скажи мне, как ты думаешь вообще? Ты у меня не такая безрассудная чтобы ждать богатых и знатных женихов!

— Не жду, маменька, — сказала я от чистого сердца. — Я знаю, что я не красавица. Если б я была такая слепая, чтобы считать себя красавицею, то я знаю, что богатые и знатные ищут невест равных себе; а не в нашем кругу. Я сказала, маменька, что мне не нравятся манеры Волкова; я знаю, что это глупо, потому что у меня самой...

— Не брани себя за это, душенька. Ты сказала так потому, что не умела сказать, что он весь не нравится тебе, только. Я никогда не замечала в тебе желания выйти из нашего простого быта, вертеться в свете.

— Во мне нет этого желания, маменька. Я не могу и думать о светском обществе. В прошлую зиму я просила вас съездить в Дворянское собрание: вы знаете, оно не понравилось мне. Там так дурно... Эти светские кавалеры такие дерзкие, и от них пахнет вином. И что такое была я там? — Смешная, жалкая. Да я и не гожусь для светского общества. Я не могу думать о нем даже и

по одному тому, что не говорю по-французски. И все мои привычки не светские, а я не хочу бросать их; я хочу быть такою, как вы, маменька, а светские женщины не такие. Я презираю светское общество, маменька; оно пустое, безнравственное, гадкое. Я создана только для нашего круга, и я люблю его; он лучше всякого другого, в нем люди просты и добры, и я не хочу, не могу жить с другими.

Я говорила много в этом духе и с полной искренностью. Впрочем, я и никогда не хитрила перед матерью: никогда не было мне надобности в этом; я не приучилась обманывать, потому что не видела в нашем семействе обмана.

— Ты рассуждаешь умно, Лиза, — сказала матушка. — Я покойна за тебя. В тебе нет ни тщеславия, никаких неблагоразумных желаний. Если не понравился тебе Волков, понравится кто-нибудь другой из людей, которые пара тебе. Твои годы еще впереди. У тебя будут другие женихи, и ты сделаешь основательный выбор и будешь счастлива.

И мне самой казалось, что она говорит правду.

Мое главное сомнение в себе было рассеяно простыми ее словами, что часто человек не бывает в состоянии отдать себе отчет, почему один нравится ему, другой не нравится. «Волков не симпатичен мне, вот и все; а я было так боялась, что я пустая девушка, которая смотрит на манеры, ищет ничтожного, ненужного светского блеска, которого сама не имеет», — думала я, когда ушла в свою комнату, на мезонин.

Мать ободрила меня. Но недолго сохранилось во мне доверие к моей рассудительности. Когда затихла радость о том, что мне так легко позволили избавиться от Волкова, я стала вдумываться в чувство, которое было вызвано во мне его сватовством. — Пока у меня не было надобности внимательно подумать, могу ли я идти за Волкова, мне воображалось, что я не имею ничего против него. Не ошибалась ли я точно так же, когда думала, что не вижу ничего противного в других молодых людях, которые считаются хорошими женихами в нашем кругу? — Я вновь стала перебирать их одного за другим в своих мыслях, и с ужасом нашла, что действительно я ошибалась в самой себе. Прежде, я без размышления повторяла себе о них то, что слышала от всех в нашем маленьком обществе. Это было только чужое мнение. А мое, которого я прежде не спрашивала? — я чувствовала теперь, что кто б из этих хороших женихов ни посватал меня, мне точно так же было бы невозможно согласиться идти за него.

«Будут другие женихи, и ты сделаешь благоразумный выбор», — говорила мне матушка: как подействует на нее и на отца, когда они увидят, что я не могу решиться на благоразумный выбор?.. Мне хотелось, чтобы никогда не открылось перед ними, как безрассудна их дочь, которую считают они умною, — чтобы ни у кого не являлась мысль сватать меня... Я видела врага

себе в каждом из молодых людей, которые считались у нас хорошими женихами. Если кто из них заговаривал со мною, взглядывал на меня, я чувствовала тоску; я повторяла в душе: «о, если б я казалась ему так же дурна, как я боюсь его!» Я жила в постоянной тревоге.

И вот опасение мое сбылось: явился новый жених. Это было через четыре месяца после отказа Волкову.

«Лиза, ты довольно часто видела Фролова у Шатиловых и у Симоновых, сказала мне матушка: — он просил Марью Яковлевну узнать наше мнение о нем. Если бы мы с твоим отцом не находили, что он хорошая партия, я не стала бы говорить тебе о нем. Но что скажешь ты сама?»

«Уже!» — думала я и у меня билось сердце; «уже!» думала я и молчала.

— Ты молчишь, Лиза? — сказала матушка со вздохом. — Я ждала этого. Но, пожалуйста, Лиза, подумай хорошенько. — Она замолчала.

Прошло пять дней. На шестой, мы опять сидели одни и шили. Матушка сказала: — Ныне поутру, Лиза, я была у Марьи Яковлевны и сказала, что благодарю Ивана Алексеевича Фролова за доброе мнение о моей дочери, но что твой отец не согласен. Я солгала на твоего отца; но он не невеста, и пусть будут в претензии на него, прибавила она с принужденной улыбкой. — Она говорила довольно унылым голосом, но в нем было только сожаление, а не упрек.

— Как вы и папенька добры! — сказала я. — Вы слишком добры! Я капризница, я дура, и вы не браните меня!

— Нет, Лиза, ты не похожа на капризницу, сказала она; — ты хорошая и умная девушка. Ты послушна и рассудительна во всем. Но, мой друг, я мало понимаю твои мысли. Ты будешь откровенна со мной, не правда ли? Прежде я всегда радовалась на тебя, что ты такая скромная девушка. Но все-таки ты не дичилась никого, была со всеми хороша, приветлива, ласкова. Теперь, вот уже с год я стала замечать, что ты избегаешь молодых людей...

— С год, маменька? — перервала я, сама удивленная. — Де сватовства Волкова, я не боялась их.

— Твоя правда, с этого сватовства ты особенно переменилась, так что стали замечать многие. Но и прежде, мой друг, ты держала себя далеко от них. Тогда, я думала только, что ты стала серьезнее, начала понимать, что взрослой девушке надобно быть скромною; но теперь, мой дружок, я вижу, что это и тогда было какое-то отчуждение; скажи мне, что это такое?»

— Маменька, прежде я ничего не замечала; только то, что иногда говорила вам, что с одними своими мне веселее, чем в обществе, что в обществе мне иногда очень скучно, все так незанимательно... Я не замечала сама, что я дичусь не общества,

а перестала находить удовольствие говорить с молодыми людьми... Теперь, я боюсь их.

— Скажи, Лиза: мне стало казаться, как будто ты имеешь мысли остаться в девушках; так, Лиза?

— Я? Остаться в девушках? — с испугом сказала я. — Нет, маменька, это никогда не приходило в голову мне. Я не такая безрассудная, чтобы думать об этом. Только богатые могут думать об этом. Для этого нужно иметь состояние, где оно у нас? Если б я была и одна дочь, это было бы невозможно. Пока папенька на службе, мы живем. Когда он выйдет в отставку, вам было бы тяжело кормить и одну меня. А я не одна у вас, маменька. Я помню, что у меня есть сестра. Нет, я не такая дурная, не такая эгоистка.

— Если бы ты осталась при нас, Лиза, ты знаешь, стали бы мы обременяться тобою.

— Знаю, маменька. Но как вы будете жить тогда и одни, если у Гриши не будет средств.

— Мы с твоим отцом старики; много ли нам надо? Как ни будем жить, не станем требовать от Гриши; и будем ли мы, друг мой, тяготиться тобою?

— Знаю, маменька, но... — Я вздохнула, маменька также. — Нет, маменька, я не такая безрассудная и дурная. Я знаю, я должна идти замуж.

— Должна, Лиза, с печальной решительностью сказала матушка. — Должна. Иначе, ждет тебя нужда. — Мы замолчали.

— Лиза, начала она колеблющимся голосом: — Ты хорошо понимаешь свое положение. Но где же, скажи мне, женихи для тебя? Я не вижу. Я молчала. — Маменька, не знаю.

— Наши молодые люди не нравятся тебе?

Я молчала. Матушка вздохнула. — Никто, Лиза?

— Нет, маменька, никто. — Моя грудь надрывалась от боли, как будто я была виноватая...

— Лиза... Я прошу тебя... Ты скажи... не заинтересовалась ли ты кем-нибудь из людей, которые выше нашего состояния?

— Маменька, где я видела их? — на улице, на бульваре, в церкви. Разве я такая глупая девушка, маменька, чтобы влюбиться в человека, с которым не говорили ни слова?

— Твоя правда, друг мой. Но я говорила тебе, что мало понимаю тебя. Как же в твои лета не интересоваться никем.

— В мои лета, маменька? — Но вспомните, что на-днях мне будет восемнадцать лет. Мне пора не быть ребенком.

— Так, Лиза, ты у меня рассудительная. Но я не знаю, справедливо ли ты полагаешь, что твои лета не такие... Правда, впрочем, твоя жизнь такая... Маменька замолчала и задумалась.

Она начала, стараясь дать своему голосу тон убеждения, — и напрасно: в нем было только уныние.

— Лиза, как ни грустно и ни тяжело для меня, но я должна

сказать тебе. Я сомневаюсь, скоро ли будет у тебя еще жених. Ты отказала двум, очень хорошим. Я боюсь, ты прослышешь гордою девушкою, которая пренебрегает достойными людьми. И согласишься, мой дружок, что кроме отказов, которые были в твоей воле, потому что нельзя же, в самом деле, и требовать, чтобы девушка шла за человека против собственного расположения, но согласишься, Лиза, что и кроме этих отказов ты подаешь причину другим так думать о тебе: подаешь тем, как держишь себя. Прежде могли ставить это в достоинство тебе, считали скромностью. Но после двух отказов таким людям, я боюсь, все будут понимать это как надменность.

— Маменька, чем гордиться мне? Красотою или богатством?

— Ты недурна собою, Лиза.

— Маменька, могу ли я не видеть, что есть много девушек, которые гораздо лучше меня?

— Твоя правда, Лиза, ты у меня не занята своим лицом до такой глупости. Но я скажу тебе, друг мой, почему ты пренебрегаешь нашими молодыми людьми. Они кажутся тебе необразованными.

— Но какое же образование у меня самой, маменька? Чему я училась? — Арифметике, краткой священной истории.

— Нет, Лиза, это так.

— Маменька, пренебрегаю ли я кем-нибудь? Скажите, маменька, надменная ли я? — отвечала я тоскливо. В первый раз, я хотела быть неискренною с матушкою: мне была так тяжела правда...

— Ты не о том говоришь, Лиза. Не то, что ты имеешь пренебрежение к людям. Но ты чувствуешь, что тебе нет пары между нашими молодыми людьми.

— Маменька, простите меня! — Я сама не рада! — Я знаю сама, как это дурно!

Матушка сидела с опущенной головою. Она давно не шила; но сидела, опустив голову. Два раза она поднимала на меня глаза, чтобы начать говорить, и опускала, не начиная. Снова подняла глаза, и сказала с усилием, но твердо:

— Лиза, не порицай свою мать. Я как будто давала тебе советы, чтобы ты вешалась на шею мужчинам. Но ты чувствуешь, Лиза, я говорила не то: я должна была не скрыть от тебя... должна была выставить перед тобою всю опасность. Будь снисходительна, Лиза, к моей обязанности. Впрочем, я не осуждаю тебя. Не требую, Лиза. Твоя мать не враг тебе и не развратительница. Я должна была предупредить тебя; но что же, в самом деле, или тебе быть притворщицею? При твоём характере и нельзя быть счастливою через обман. Не нам с тобой заманивать женихов. Пусть будет, что богу угодно. Будут женихи, то будут; не будут, то бог с ними. Лучше оставаться в девушках, чем итти замуж против собственного расположения.

Матушка не преувеличивала опасность моего положения. Уж и после отказа Волкову я стала слышать от знакомых девиц, что молодые люди, а в особенности их родные, называют меня гордою, слишком разборчивою. Теперь я отвергала другого человека, также вполне достойного лучшей невесты нашего круга, и должна была ожидать, что женихи будут обходить меня.

Однакоже, через несколько времени мне представлялся новый случай исправить мое неблагоразумие. Я также не воспользовалась им, как сватовством Фролова, и отвергая третьего жениха, с наслаждением думала: это последний.

Это было весною 1851 года, через две недели после того, как мне исполнилось восемнадцать лет.

Моя надежда сбылась. Всеми было решено, что я слишком много думаю о себе. Прошло лето 1851 года, прошла осень, прошла зима, — никто не сватал меня.

И я радовалась этому. Спокойно и счастливо провела я мой девятнадцатый год, не понимая ничего того, что готовилось во мне, не предчувствуя ничего. Я помнила только, что я еще молода, что я могу долго ждать, пока встретится человек, который не будет противен мне; что если и не встретится он, отец и мать не будут тяготиться мною... Я не понимала того, что готовилось во мне.

II

ПО ДНЕВНИКУ

Я сказала, что рано полюбила книги. Наша жизнь, тихая и благоразумная, была хороша для меня. Я с любовью занималась хозяйственными заботами. Но они были мелочны и однообразны, не могли поглощать всех сил души. Для девушки моего состояния книги — главное развлечение, почти единственное удовольствие. Потому-то, между нами так много страстных охотниц читать. Можно ли осуждать нас за это? Нам нужен отдых... у нас много работы, она утомительна... этот отдых так невинен...

Сначала, книги принесли мне пользу, — как мне казалось. Они развили, укрепили мое благоразумие.

Когда я была ребенком, я слышала от старших подруг, что они влюбляются, и влюблялась по их примеру. Но книги скоро научили меня видеть, что в молодых людях, с которыми мы танцевали, играли в горелки, фанты, нет ничего очаровательного. Я стала понимать, как неловки их претензии на светскость, не изящно их франтовство; — они были неразвиты, они стали казаться мне пошлы. На шестнадцатом году, я перестала влюбляться в них, на семнадцатом перестала находить удовольствие в их обществе.

Я была рассудительна с детства. Я считала эти перемены в себе признаками того, что становлюсь все благоразумнее. В моем

дневнике за 1849 год раза три встречается заметка: «как смешно и стыдно мне вспомнить, что я еще недавно влюблялась. Теперь я понимаю, что это была детская глупость».

Я начала вести дневник с четырнадцати лет, и продолжала его до лета 1852 года, когда мне было девятнадцать лет. Он очень краток: по две, по три строки за день, редко строк восемь, десять. В начале его, на редкой строке нет нескольких орфографических ошибок и в последней тетради едва ли найдется страница без целого десятка их.

Я нахожу, что за два с половиною месяца до сватовства Волкова у меня записано:

«23 (июля, 1850). Рождение Сашеньки. Ездили с Каталонскими в Буркин сад. Было очень весело. Когда приехали домой, долго мечтала».

По этой заметке, я вспоминаю, что именно после поездки в сад Буркина явилась в моих грезах небывалая до того времени завлекательность и яркость.

Сашенька запрыгала от радости, когда кончились успехом наши переговоры с Каталонскими, чтобы отпраздновать ее рождение поездкою за город, в сад. И я была в восторге. Вот мы победали: — и Каталонские также; вот запряжена в длинные дроги наша вороная лошадь — старушка; и лошадь Каталонских также подана; готово, идем! — бежим! — Машенька Каталонская садится к нам: на их дорогах тесно. Едем.

Сад Буркина лежит в горах. Он не велик, но к нему примыкает большая роща. Сад занимает ложбину; лес идет выше его, почти до вершины горы. Мы располагаемся в роще. Наши старшие идут прогуливаться по отлогим, хорошо расчищенным дорожкам нижней части ее, около площадки, где мы будем пить чай. Мы отправляемся взбираться на гору. Но брат и Аркаша Каталонский через минуту исчезают; как они счастливы, что они в сапогах, которые не боятся каменистых тропинок по спускам оврагов! — они стремглав бросились по ним. Я кричу вслед: «оборветесь, убьетесь, господа!» — «Нет!» — едва долетает голос Аркаши. Варенька, Аня, Надя, Володя Каталонские, Сашенька хотят идти со мной и Машенькой на гору. Но через пять минут я вижу, что все они отстали от меня; — и Машенька, — пятнадцатилетняя! скоро будет невеста! — тоже заигралась с ними. Все остались внизу. Машенька не позволит им зашалиться так, чтобы они ушиблись; — и я одна иду, все выше и выше; — сначала, по узеньким тропинкам, — вот, нет и маленьких тропинок, надобно пробираться между ветвями, разводить их, нагибаться; я в самой чаще леса. Может ли выскочить волк? — думаю я: — нет! — Я поднимаюсь все выше, выхожу из рощи на вершину горы, покрытую густым кустарником; тут надобно быть еще осторожнее, чтоб не изорвать платье! — Я пробираюсь кустарником по гребню горы до другого леса,

спускаюсь там к подошве горы, — выхожу на поле. — О, как далеко я зашла! я думаю, больше двух верст от наших! Пора возвращаться: там, я думаю, уж готов чай! — Я иду к нашему бивуаку прямою дорогою, по полю, вдоль подошвы горы. — Что это? — Дорожка пропадает в высоком тростнике; я иду, отводя его руками; — шумит ручей, — можно ли дойти до него? нет, под ногами проступает вода, я испорчу башмаки: надобно опять подняться несколько повыше. Я иду по тростнику, вдоль ручья, к горе, меня совсем не видно в тростнике! — Я думаю, еще никто не ходил тут прежде меня. Я иду здесь первая! — земля становится суше, тростник сменился травой, такую огромною, что она тоже выше моей головы; — но вот я могу видеть через нее сад за ручьем; — она все ниже, земля становится совершенно суха; я могу подойти к самому ручью, — как я перепрыгну через него? берега грязны на целых десять шагов! — но вот, перекинута через него жердочка, — сумею ли я перебежать по ней? — она очень тонка! нет, не подломилась, и я не свернулась с нее! — я бегу в рощу, к нашим; вот слышны голоса; маменька кричит: «Лиза, куда ты забежала? Пора чай пить!» — Машенька бежит навстречу мне... Я очень проголодалась от прогулки. И с каким жаром, восхищением я рассказываю все приключения моего путешествия по далеким, неведомым краям! — Потом мы играли в горелки; потом, когда взошел месяц, мы с Машенькой и братьями пошли опять к ручью, и наши кавалеры хвалили мою смелость: я ушла далеко от всех, в тростнике, таком густом и высоком. — Потом, мы ужинали: наши старшие сварили очень вкусную гречневую похлебку с бараниною; я помогала им; она варилась в котелке на треножнике из палок над маленьким костром, как делают пастухи. Когда котелок сняли, брат и Аркаша набросали в костер огромную кучу хвороста, и он ярко пылал, пока мы ужинали. — Потом, мы опять играли в горелки и тут ни Аркаша, ни брат не могли ни разу поймать меня. А когда мы собрались ехать домой, наши кавалеры опять набросали в костер ужасно большой ворох самого толстого хвороста, и он удивительно освещал нам дорогу до выезда из сада; и потом, всю дорогу по спуску равнины до самого города мы беспрестанно оборачивались смотреть, горит ли костер: горит, еще горит!

Через полчаса по приезде домой, отец, мать, брат, сестра — все крепко спали. Лежала и я в своей летней постели, — перине, положенной на полу балкона моего мезонина, под пологом, натянутым от перил балкона к стене; лежала, но дремота была далека от меня. Грудь моя глубоко дышала мягким воздухом теплой ночи, мне было жарко, я сбросила простыню, заменяющую одеяло, ветерок сладко, нежно щекотал мою шею, он освежал ее... я дала ему ласкать мои ноги, открыла ему грудь... он освежал меня... Я оперлась на локоть и смотрела на светлосинее полотно реки, перерезанное играющею золотою полосой ме-

сяца, на Соколову гору, посеребренную его лучами... Я слушала тихое плесканье струй Волги о крутой берег... Ветерок ласкал, щекотал мои ноги, плечи, грудь... Я чувствовала себя бодрой, сильной, смелой, весело было у меня на душе. Мне думалось, как легко, привольно, смело было мне в этой прогулке по лесам, кустарникам, полям, камышам, в сумраке вечера, в полумраке ясной ночи, вдали от всех одной... Я иду, иду все дальше, дальше... лес все гуще и гуще, я иду, иду... мне жарко... я слышу журчанье ручья, бегу к нему, зачерпнула воды, плеснула ею на лицо, на шею, — как освежает она! — я спустила с плеч мою блузу, плещу на них водою, — как свежо, хорошо! — я надвигаю блузу на плечи, надобно освежить мои бедные ноги, — они устали от этой далекой прогулки; я села на большом камне у самой воды, отдыхаю, — дотронулась моею босою ногою до воды, опустила в воду обе ноги; она слегка щекочет их пальцы, щекочет их ступни, струями переплескиваясь через них... я снимаю с головы венок из цветов, бросаю в ручей цветок за цветком, слежу глазами как они кружатся, ныряют, всплывают, быстро убегают по вьющимся струям... и вдруг, я слышу голос, — голос мужчины! — «Скажите, прошу вас, какую тропинкою пройти в город? Я не здешний, потерял дорогу», — хорошо, что я давно опять подняла блузу на плечи, застегнула! — но я босая, — ах, какой стыд! — «Ах!» — я оглядываюсь. — За моим плечом стоит молодой человек в охотничьем платье, с ружьем, хрощенький, незнакомый. — «Я испугал вас?» — спрашивает он, улыбаясь. — «Нет», говорю я: — «Вы не страшный. Я укажу вам дорогу, только обуюсь». — Мне так стыдно, что я босая! — «Позвольте, я помогу вам», говорит он, становится на колени, — и, о ужас! — целует мои ноги! — «Вы дерзкий!» — говорю я. — Он плачет, — он, бедняжка, вовсе не дерзкий, — он боится меня! — «Идите прочь, — говорю я. — Я сейчас обуюсь, и укажу вам дорогу». — Он отходит, я обулась и кричу: «Где вы? Идем, я поведу вас!» — Мы идем. — «Кто вы? как вы зашли сюда? Я думала, что здесь нет никого, зачем вы так подкрались? это нехорошо!» — Он уверяет, что он подошел, не заметив меня! — «Вы лжете! Вы хитрый!» — говорю я: — Не должно так подкрадываться, вы испугали меня», — я делаю ему выговоры, я очень строгая! — Он, бедный, плачет! — Мне жаль его. Он говорит: «Вы несколько не любите меня!» — «Вот прекрасно! За что же я стала бы любить вас?» — я обманываю его: я люблю его, ужасно люблю! — Он плачет. — «Вот дорога в город, — говорю я, — прощайте! Я не люблю вас, потому что вы испугали меня». — «Позвольте мне идти с вами», — говорит он. — «Ни за что! Я терпеть не могу вас!» — Он закрывает лицо руками и плачет, уходя от меня... Мне очень жаль его, бедняжку, но я не ворочу его! — Нет, я строгая! Зачем он испугал меня?.. Я иду, иду, все дальше; лес все гуще и гуще, я иду, иду... мне жарко, я ищу

прохлады. Я слышу: журчит ручей, я иду к нему. Над ручьем развесились густые ивы, я плеснула водой на лицо, плечи, застегнула блузу, разулась, опустила ноги в воду, — и они освежились; так хорошо! — я обулась и иду прилечь под тенью ив: там холодок, трава так мягка! — я прилегла, опершись на локоть, и отдыхаю... так прохладно, хорошо! — я начинаю дремать, но я не дремлю, я слышу все! — «Кто эта девушка, такая смелая, которая одна зашла так далеко в лес?» — «Я не знаю ее, так же, как и вы». — «Жаль будить ее! А может быть, она указала бы нам дорогу». — «Я не сплю», — говорю я и открываю глаза. — Передо мной стоят старик и молодой человек; — старик такой добрый, молодой человек такой хорошенький. — «Это мой сын, — говорит старик. — Мы не знаем дороги: не укажете ли вы нам ее, милая девушка?» — «С удовольствием, — говорю я. — Идем!» — «Зачем вы не смотрите на моего сына?» — говорит старик, — я хитрая, я только притворяюсь, что не смотрю на него: я беспрестанно украдкой взглядываю на него: он такой хорошенький! — «Зачем же я стану смотреть на вашего сына? Мы незнакомы», — говорю я. — «Но он так любит вас!» — «Вот прекрасно!» — говорю я и смеюсь: — «почему же он не говорит сам, если любит меня?» — «Я люблю вас, я боялся сказать», — говорит молодой человек. — «Я очень благодарна вам за это, — говорю я этому молодому. — Вот дорога в город. Прощайте». — «Вы не любите моего сына!» говорит старик и плачет. — «Вы не любите меня!» — говорит молодой человек и плачет. — «Нет, я не люблю вас. Прощайте». — Они идут и плачут оба. Мне очень жалко их, особенно молодого человека: он такой милый! — Но я не хочу вернуть их, я не хочу сказать ему, что я люблю его: я кокетка, я люблю мучить всех, кто влюбляется в меня... это приключение нравится мне гораздо больше первого: зачем тогда он так испугал меня? Зачем подкрался, когда я была разута, как смел поцеловать мою босую ногу? — Но он не виноват, бедняжка: я сама была так неосторожна! А он также был очень скромный, — и как он плакал, что я не хотела любить его! — Я лежу на своем балконе и думаю о нем: мне жаль его, зачем я заставила его так плакать? Хорошо ли быть кокеткой?.. жарко! — я сбросила простыню... жарко! ветерок ласкал мою шею, я открыла ему грудь, дала ему щекотать мои плечи, ноги... он так хорошо освежает!.. я оперлась на локоть и смотрю на синее полотно реки, слушаю тихое плескание ее струй... Я думаю о нем, мне жаль его: зачем я тогда была кокетка? Зачем я не призналась ему, что и я люблю его?.. Если бы я увидела его опять, я не была бы такой жестокой!.. Я слышу, голос поет под моим балконом: это его голос... Он поет о том, как месяц золотит реку, теплый ночной ветерок струит ее, о том, как он любит меня... Он умоляет меня, чтобы я набросила мою мантилью, и вышла на балкон, — ему не видно меня,

я лежу, притаилась... бедный, мне жаль обманывать его, я не хочу быть кокеткою. — Я набрасываю мантилью и подхожу к балюстраде балкона, оперлась и слушаю его, закутанная в мантилью: он должен быть в восторге, — ему мало этого! — он недоволен моей мантильею! — он умоляет, чтобы я сбросила ее явилась ему, как светлый день! — «Вы льстец! — говорю я, — я вовсе не такая красавица». — Но он продолжает умолять... бедный, я не хочу быть кокеткою, мучить его: — «Извольте, — говорю я, — я так люблю вас», я откидываю мантилью с лица: он должен быть доволен! — он недоволен и этим! — Он умоляет, чтобы я продвинула мою ножку сквозь балюстраду! — «Какой вы смешной! — говорю я, — я знаю, вы хотите поцеловать мою ногу. Но балкон выше вашей головы! И если бы даже могли вы достать до решетки, какое же удовольствие приложить губы к пыльной подошве моей туфли?» — «Вы не любите меня!» — говорит он и плачет... «Умоляю вас! Вы нисколько не любите меня! Вам не жаль меня!» — «Нет, мне жаль вас, я не могу ни в чем отказать вам», — я хочу пококетничать с ним, — и мне, в самом деле жаль его. — «Извольте», — говорю я, — и продвигаю носок ноги между каменным полом балкона и нижней полосой решетки, — только чтобы посмеяться, как он будет напрасно тянуться и все-таки не достанет; — но, ужас! — и какой же он хитрый! в один миг, он вспрыгивает на скамью, — как я забыла, что под моим балконом есть скамья! — он вспрыгивает на нее, схватывает мою ногу обеими руками, нагибается, целует босой подъем ступни... какой хитрый! Но его поцелуй так ласково щекочет мою ногу: мне смешно... он целует, целует босой подъем ступни: — «какой вы смешной!» — говорю я, — ах, простодушная! — я ободрила его: он видит, что я не сержусь! — он сбрасывает туфлю с моей ноги! — это дерзко! — я сержусь: — «Позвольте мне уйти. Вы слишком дерзок!» — но он и не думает слушаться! — он крепко держит, прижимает к своей груди мою бедную босую ногу, целует все пальцы ее... «Вы слишком дерзок! Вы обижаете меня!» — говорю я строго: — «Я не могу любить такого дерзкого!» — он плачет и освобождает мою ногу. Мне очень жаль его. Но зачем он был такой дерзкий? — «Я приказываю вам уйти и не хочу любить вас!» — Он закрывает лицо руками и уходит... Жарко! — жарко! — Я хожу по балкону... Мне очень жаль его, но я должна была наказать его! Я хожу по балкону, я открываю ветерку мои плечи, он ласкает, щекочет их. Я смотрю на гору, посеребренную месяцем... мне жаль его! мне грустно... Я оперлась на балюстраду, смотрю на вершину далекой горы, она искрится бледным серебром при месяце... мне грустно, грустно! Я никогда больше не увижу его! О, боже, видеть его только раз, и так полюбить! — без надежды видаться вновь!.. как же не грустить мне?.. Я вспоминаю все подробности нашей первой — и, о боже! — последней! — нашей встречи

с ним на балу. О, как это ужасно, что наши родные в ссоре! же стокие! я никогда не увижу его! — о, боже! это его голос! его голос под моим балконом! — «Я здесь, склони на меня кроткий взор твой, милая девушка!» — «Вы здесь? как я рада! Но как могли вы очутиться здесь?» — «Я перелез через стену вашего сада!» — «Такою высокую! Не делайте этого в другой раз! — Вы можете упасть и ушибиться. Лучше, я дам ключ от сада. Вы будете приходиться к этому балкону, я всегда буду ждать вас на нем». — «И я никогда не пожму вашей руки!» — «Никогда!» — Он плачет, и я плачу... мы плачем, плачем... Мы плачем всю ночь и поутру я грустная, бледная. «Ты очень грустна», — говорит маменька. — «Маменька, я люблю его, а папенька в ссоре с его отцом!» — «Если это так огорчает тебя, мы помиримся с его родными», — утешает меня мать, ведет к отцу; отец не может противиться нашим просьбам, едет с визитом к его отцу и в тот же вечер у нас бал, и он является на нем уже без маски. Этот бал — наше обручение. Нам приказывают стать рядом, взять за руки друг друга, благословляют нас, велят нам поцеловаться, — мне так стыдно — «не надобно», шепчу я ему; — он такой милый! — говорит: — «как это можно, папенька и маменька?» — «Пойдем в сад, — шепчет он мне, — там никто не будет принуждать нас», — милый! — «Идем!» — говорю я, — и мы в саду, гуляем по густым аллеям... Там, в зале, танцуют, до нас едва доносятся звуки бальной музыки... жарко! Я сбрасываю простыню, я оперлась на локоть, открываю мою грудь, плечи, ноги, мягкому ветерку ночи, он ласкает, освежает меня. Мы гуляем по саду, он говорит: — «Я люблю вас...»

Такие фантазии бывали у меня и прежде: не раз я клала в сторону книгу, задумывалась, ставила себя на место героини, переделывала по-своему ее судьбу, ее чувства. Кто не испытывал этого? — Но прежде, увлечения мыслей были у меня мимолетны: полчаса, много час, — и я опять погружалась в чтение, если это бывало днем; полчаса, или четверть часа, и я засыпала, если это было вечером, в постели. Теперь, я прочтала всю ночь напролет, и на другой день побранила себя: «Как это можно, не спать до 4 часов, когда надобно вставать в 7, чтобы заниматься делом? Ныне, я заставила маменьку саму выдавать припасы и разливать чай: это нехорошо, этого не должно быть впредь».

Неделя шла за неделей, этого не повторялось. Попрежнему часто случалось мне увлекаться интересною книгою; но попрежнему фантазия моя разыгрывалась на полчаса, на час, и после того я опять спокойно продолжала чтение. Такою благоразумною, прозаическою читательницею дожила я до половины октября. С нею начались тревоги действительной жизни. Конец осени и почти вся зима моего восемнадцатого года были отрав-

лены для меня сомнениями в своем благоразумии, опасениями, что отец и мать считают меня упрямецю, капризницею за отказы женихам. — Наконец, я убедилась, что страх за отношения к матери и отцу был напрасен, и вместе с этою боязнью затихли мои тайные упреки себе. Если бы я действительно поступила неблагоразумно, отвергая женихов, которые были ненавистны мне, то могли ли отец и мать, при своей заботливой любви, представить мне такой полный произвол? Они старались бы отклонить меня от вредного упрямства упреками, наставлениями. По крайней мере, они показывали бы мне недовольный вид. Ничего этого нет.

После отказа Волкову матушка сама успокаивала меня, после отказа Фролову, сделавши уступку обычаю несколькими слабыми замечаниями, она прямо перешла на мою сторону: сама сказала, что нельзя итти за человека, если он не нравится, что заманивать женихов — низость, которая и не привела бы к счастью девушку с моим простым характером; что если бы я и осталась в девушках, отец и мать не стали бы отягощаться мною, попрекать и осуждать. Они оба продолжают считать меня рассудительною девушкою. Зачем же мне мучить себя?

Эти мысли утвердились во мне к концу зимы. Когда я отказала третьему жениху, моя уверенность за отношения к матери и отцу совершенно оправдалась: матушка не сделала мне ни малейшего упрека; сказала только, что и не ждала от меня согласия итти за жениха, который нисколько не лучше двух первых, и прибавила, что я остаюсь для нее и отца, попрежнему, умною, рассудительною девушкою, доброю, послушною дочерью, которой они всегда были, всегда будут довольны.

Чего было опасаться мне теперь, о чем тосковать? Я стала беззаботна, весела, как в старину. Это спокойное настроение души возвратилось ко мне перед началом весны 1851 года; и через несколько времени в моем дневнике явилась отметка:

«22 (марта 1851). У нас были гости: Шатиловы, Симоновы, Ершовы. Наш двор уже совершенно сух и мы весь вечер играли в горелки: Леночка, Саша, Анюта Шат., Варенька, Надя Сим., Катя Ерш., трое нас, шестеро Каталонских, — целых 15 человек! Было очень весело. Гости уехали поздно, в 12-м часу. Потом я долго мечтала».

Через пять дней, был день моего рождения и я нахожу замечание, по которому вижу, что совершенно верны мои воспоминания о впечатлении, которые оставила во мне моя вторая бессонная ночь.

«27 (марта). День моего рождения. Мне исполнилось 18 лет. Маменька купила мне очень миленькую шляпку и дала Сашеньке, чтобы она подарила мне. Шляпка стоит 7 рублей. Премиленькая. Вечером были гости: Шатиловы, Симоновы, Траховские, Ершовы, Репинские. Танцовали. Когда все разъехались,

мне не спалось и я стала мечтать; но вздумалось пересмотреть свой дневник за прошлый год. Увидела, что в прошлом году я была еще кокетка. Теперь я исправилась от этого».

Как могла я увидеть, что «я была кокетка» в прошлом году, когда в первую половину его я уже очень сухо держала себя с молодыми людьми, а во вторую половину боялась и убегала их? — Так я поняла перемену, которую заметила в себе, — вот в чем была перемена и как была замечена мною:

Пересматривая дневник своего восемнадцатого года, я дошла до 23 июля, прочла слова, в первый раз явившиеся тогда в моих заметках «долго мечтала», и остановилась на них. Мне вспомнились все сцены, которыми играла тогда моя фантазия; я сравнивала их с мечтами, в которых прошла у меня целая ночь после игры в горелки, шесть дней тому назад: какая разница!

Тогда, за восемь месяцев до нынешнего вечера, я сидела у ручья, плескалась в воде босыми ногами; молодой охотник подкрался и смотрел на эту игру, — вызвался обуть меня, — и я позволила ему обуть меня! — и он стал целовать мои босые ноги! — я осталась недовольна, прогнала этого дерзкого и заменила его молодым человеком, который шел вместе с отцом старичком, и был совершенно мил и скромн; я даже не хотела признаться, что люблю его, хоть мне было очень жаль видеть, как он плачет о моей жестокости; но когда я отдыхала на моем Севильском балконе над Гвадалквивиром, я опять была такая нескромная девушка! — Правда, я думала только подшутить над ним, согласившись продвинуть носок ноги сквозь чугунные перила: балкон был высок, я только думала посмеяться, как он будет тянуться и не достанет; но продвигать ногу, — босую ногу, только в низенькой туфле, — продвигать с позволением поцеловать ее, хоть бы только в шутку! — и как я была наказана за нескромную шалость! — он сбросил туфлю и прижал к своей груди мою босую ногу! — Правда, я рассердилась на дерзкого и без всякой жалости прогнала его, хоть он был очень хорошенький и я ужасно любила его; — но все-таки, я была ужасно нескромная: такая шалость! — продвинуть носок босой ноги сквозь чугунные перила! правда, потом я уничтожила за это Севилью и Гвадалквивир, перенеслась в Верону, у покрытых снегом Альп, — и на моем Веронском балконе я держала себя уже очень скромно, и Ромео был так мил: ни разу не поцеловал меня, когда мы с ним гуляли по нашему саду. Но потом, опять было столько сцен с босыми ногами! — однажды, когда я сидела в белом платье в моем Сандомирском саду у фонтана, на скамье, он даже обнимал мои колена, и я не отталкивала его, — правда, он был очень милый, очень скромный, и все плакал. Но, потом, когда этот гадкий воевода с жесткими седыми усами был убит, и на шум прибежала маменька, прибежали все, было опять обручение, я даже целовалась с моим женихом! — Было столько таких сцен! все целовали

мои ноги, — однажды даже плечо! — о, как я рассердилась тогда! — но сколько раз я целовалась с моим женихом! — какая ветренная была я тогда! — ужасно!

Теперь, какая разница! — Теперь, когда я опять промечтала целую ночь, ни в одной из моих фантазий не было дерзких, целовавших мои босые ноги, — не было дерзкого, целовавшего мое плечо, не было ничего подобного! — и это потому, что я не делала никаких ветреностей, — не мыла ног в ручье, не выходила на балкон с туфлями на босую ногу слушать серенаду; теперь я всегда была скромна, как тогда Джульетта.

Я не поняла, что я стала в моих фантазиях вместо прежнего шаловливого ребенка взрослою девушкою; скромность моих фантазий этой второй бессонницы была понята мною как то, что я перестала быть ветреницею, кокеткою... Счастлива была бы я, если б не произошло этой перемены, обрадовавшей меня тогда, если б я навсегда продолжала мечтать так нескромно, как в первую бессонницу, на моем восемнадцатом году!

Но, начавши возвращаться теперь, на девятнадцатом году, мои мечты сохранили свой новый скромный характер. — Они стали теперь возобновляться не очень редко: каждый раз, когда какой-нибудь особенный случай нарушал тихое, усыпляющее однообразие моего прозаического образа жизни. В продолжение семи месяцев, с начала апреля до ноября 1851 года, слова «долго мечтала» повторяются в моем дневнике одиннадцать раз: пять раз после поездки за город, в сад; раз после поездки на тот берег Волги; два раза, когда я была на вечерах с танцами под фортепиано и какую-нибудь скрипку родного музыканта, которые назывались в нашем кругу балами; три раза после дней, в которые была сильная гроза. Во время грозы, у меня были мои праздники: я бросала работу, выходила на мой балкон, любовалась тучами, любовалась молниею; потом, когда порывы урагана затихали, я выносила свои цветы на крыльцо под дождик. — Не только в эти дни наших страшных волжских ураганов, когда все запираются и закрывают ставни, но и в остальные дни, после которых овладевало мною романическое настроение, не было совершенно ничего, сколько-нибудь похожего на романические положения. Мы катались по Волге и ездили в сады только с Каталонскими. Это было все равно, что мы одни. На вечерах не встречался мне никто из молодых людей, кроме таких, какими были в свое время Волков и Фролов (они теперь были женатые люди, потому я и сказала: «были в свое время»; молодой человек в нашем кругу только жених или кандидат стать женихом). Эти молодые люди, с которыми я танцевала, теперь не были даже скучны для меня: я не допускала их говорить о чем-нибудь, кроме их семейных и служебных дел; об этих вещах можно говорить без скуки и с самыми скучными людьми. Я уже не боялась моих кавалеров: у них не было и мысли говорить мне

любезности, не только что смотреть на меня, как на невесту. И когда я возвращалась домой с такого бала, мои кавалеры так же мало припоминались мне, как их отцы, матери, тетки.

Но довольно было того, что я возвращалась домой веселая: я любила танцевать; довольно было того, что прерывался однообразный ежедневный порядок моего образа жизни, что мои мысли отрывались на несколько часов от обыденных семейных забот; — довольно было того, что движение и веселая музыка танцев или свежий воздух полей, садов, нашей Волги пробуждали мой молодой организм от рассудительной хозяйственной дремоты: неопределенная жажда жизни просыпалась во мне; и когда я возвращалась в свою маленькую комнату на мезонине, мои мысли неслись в эфирные пространства, в ушах звучали мелодии, перед моими глазами возникали светлые видения в полусвете лунной, во мраке черной ночи...

Светлые видения. В то первое время моих грез наяву, все они были светлы. В своих фантастических воспоминаниях из мира поэзии, чуждого моей жизни, я забывала, переделывала в радостную идиллию все, о чем припоминалось мне из книг, увлекавших меня. В моих мечтах не возникало ничего трагического, ничего драматического; в них не было даже никакого развития: все, воскресавшее передо мной в капризных переделках читанного, принимало характер легкой пасторали, беззаботно-нежной, бесконечно останавливавшейся на первом свидании; оно было все одно и то же, все первое, хоть повторялось тысячи и тысячи раз; оно было все одно и то же, с безмятежно детским спокойствием моим и его, двух воздушных существ, наслаждение которых — ощущать веяние ласкового ветерка, слушать журчанье ручья, очаровываться нежными звуками милых слов, дышащих любовью, — без трепетания сердца, без волнения крови; смотреть в глаза друг другу, пожимать руки, видеть его, кротко целующего мою руку, бесконечно повторять друг другу: «я люблю тебя» — вот все содержание моей пасторали с неистощимым разнообразием сплетавшейся из тысячи сцен одной и той же первой сцены.

Он, мой милый, был эфирное видение с чертами совершенно неопределенными. Все, что отчетливо рисовалось мне, были его глаза, смотревшие на меня кротко и безмятежно. Они не вспыхивали огнем, они только сияли ровною, спокойною, тихою радостью; в них не было блеска, была только нежность. Только это, только выражение его глаз и было ясно, определенно знакомо мне: я не видела отчетливо даже цвета их. Когда смутное представление мое о их цвете имело оттенок более темный, мне рисовалось в туманных чертах, что его темные волосы оттеняют матовую бледность его лица. Но чаще, его глаза должны были быть голубые, — «должны были», потому что я мало замечала цвет их, я видела только их доброе, кроткое сияние; — тогда

мне виделось, что у него вьются каштановые или русые локоны, и что на его щеках есть нежный румянец. Но все это виделось мне неясно, как будто сквозь туман, в котором сливаются оттенки цветов и черты. Я не знала о его лице даже того, овальное или худощавое оно: я не могла замечать этого, потому что была очарована выражением его глаз; — только это выражение и видела я, — и чувствовала теплоту его руки, пожимающей мою руку, чувствовала легкость теплого прикосновения его губ к моей руке, когда он целовал ее.

И я сама была таким же воздушным существом, как он. Я едва слышала усиленное биение сердца, когда я ждала его и когда он являлся вдали, идущий на свидание: я едва могла чувствовать, я почти не замечала, что мое сердце расширяется, трепещет, — нет, оно и не трепетало, оно только согревалося при этом ожидании, при его приближении. И я вздрагивала только от робкого испуга неожиданной встречи, когда он являлся не на свиданье, а внезапно, когда я, еще не знакомая с ним, думала, что нет никого вблизи меня, что я в одиноком, пустынном месте, и вдруг слышала нежный голос подле меня, или оглянувшись, видела подле себя его, незнакомого, — я вздрагивала от неожиданности, но не от волнения сердца. И когда он брал мою руку, целовал ее, только рука моя ощущала теплоту прикосновения, удары моего сердца не учащались, щеки мои не вспыхивали, и его взгляд только ласкал меня, безмятежно радостную.

У нас было много, много историй, добрых, тихих, радостных. Они всегда были радостны. Часто, — очень часто, мы с ним и плакали, много, много. Мы не знали, как сказать нашим родным, что мы любим друг друга: у меня был ненавистный жених, или мой милый был слишком беден, или он был не из нашего города, и мы не надеялись, чтобы мои родные согласились на разлуку со мною, или я тосковала предчувствием разлуки с ними; мы часто, много плакали; но мы имели слишком твердое предчувствие, что препятствие нашему счастью устранился; и оно всегда устранилось: маменька видела мою грусть, и отказывала гадкому жениху; — она догадывалась о моей любви, и говорила, что ум и сердце моего милого дороже всякого богатства; мой милый узнавал, что исчезло препятствие для него оставаться в нашем городе и мы переставали плакать о том, что мне надобно оторваться от родных. Мы с ним всегда предчувствовали счастливую развязку и потому наши слезы были легки, приятны; обливаясь ими, мы знали, что они только приготовление к радости. Но обыкновенно, и с самого начала не было никаких препятствий нашей любви: я знакомилась с моим милым где-нибудь на прогулке за городом; мои родные видели нашу любовь; мой милый нравился им, они хвалили меня за такой прекрасный выбор, благословляли нас, — и мы становились женихом и невестою; но были еще так молоды, что наша свадьба отлагалась на-

долго, и мы целые месяцы, целые годы, бесконечно оставались женихом и невестой, — все сидели вместе, все гуляли вместе, все говорили о том, как мы любим друг друга, и мой милый все целовал мою руку.

И никогда не было однообразия в этой одной и той же истории, повторяющейся сотни раз в долгую и быстро пролетевшую ночь 21 марта, и в каждую из следующих ночей, подобных ей.

Я насчитываю по своему дневнику одиннадцать таких ночей с начала апреля до ноября 1851 г. Пришла зима и однообразный порядок моей жизни стал нарушаться реже. До следующего дня моего рождения в пять месяцев только четыре раза встречается отметка «долго мечтала»: два раза это было после того, как мы были в театре; один раз после вечера с танцами у наших знакомых Ершовых; раз после вечера у нас в день моего рождения, когда мне исполнилось девятнадцать лет.

С началом этой весны, отметка «долго мечтала» встречается все чаще и чаще, — и большею частью, уже без всяких особенных поводов: в четыре месяца я насчитываю семнадцать этих бессонниц. А между тем, только три раза была какая-нибудь причина размечтаться, вроде прежних: однажды катанье по Волге, в другой раз поездка за город, в третий — вечер у Каталонских, в день рождения Машеньки. — Зато, с половины мая встречаются отметки: «хотела мечтать, как вчера, но уснула; так жаль, — непременно хотела долго мечтать, но уснула; так жаль! — 5-го июня, 14 июня записано: «Я перестала быть ветреницею; это видно даже и из того, как я мечтаю: вовсе не так смешно и глупо, как в прошлом году».

Вот в чем была перемена. Она происходила постепенно и была замечена мною, когда уж почти окончательно развилась.

Содержание моей пасторали оставалось одно и то же, но ее обстановка изменялась, как я сказала с неистощимым разнообразием. Шли месяцы и нечувствительно для меня самой один из видов обстановки, сначала совершенно исчезавший среди других, более блестящих, стал являться часто и с весны 1852 года, — с начала моего двадцатого года, стал все решительнее брать верх над остальными; вместе с его перевесом над другими, все постоянное делалось, кто я и кто мой милый. Наши отношения, разговоры, чувства сохраняли прежний светлый колорит, прежнюю эфирную безмятежность; но все теснее становился круг поэтических воспоминаний, из которых я создавала себя и своего милого, и в нашу воздушную жизнь входило все больше похожего на мою действительную жизнь, все ближе и роднее мне становилась земля, до которой мы едва касались. Все реже бывали мы людьми чуждых мне стран, далеких от меня состояний.

Севилья и Гвадалквивир, Верона и Альпы, потом и Петербург с его Невою все больше заслонялись моим родным городом

с его невысокими горами и нашу безбрежную Волгою. Аристократки и поселянки испанки и итальянки все больше уступали место дочери небогатого русского чиновника, и ее милый все чаще являлся простым небогатым человеком, сыном маленького помещика или чиновника, приехавшим из университета служить в нашем городе. Шли месяцы, пришла весна моего двадцатого года, зазеленели сады вокруг моего родного города и мы с моим милым совершенно перестали выходить из тихого, скромного быта, знакомого мне по действительной жизни; театром наших неожиданных встреч, условленных свиданий, бесконечных прогулок стали всегда бывать окрестности моего родного города, по которым любила гулять я действительная, я, Лиза Свилина; и когда мы с моим милым сидели в комнате, эта комната была гостиная нашего дома, была моя маленькая комната на мезонине... Вот почему я записала: «я мечтаю гораздо рассудительнее прежнего». Не было ли это справедливо?

Я стала всегда одна и та же, и мой милый стал все один и тот же, — и вот почему я записала тогда: «я перестала быть ветреною даже в моих мечтах». Знакомее и знакомее становился мне мой милый и черты его все яснее рисовались в моем воображении, — и вот я стала видеть его лицо уже совершенно ясно.

20-го июня в моем дневнике записано: «Я прекрасно вижу его лицо».

22-го июня у меня записано: «Его лицо знакомо; кто он?»

И вот я уже не в забвении грез, не ночью, а в раздумьи, днем за пяльцами, за своим шитьем, не мечтаю, а стараюсь вспомнить, понять: кто ж он? Не фантазия создала его, моя память воспроизвела это лицо, я почти уверена в том. Я должна была видеть этого молодого человека с длинными каштановыми волосами, с большими карими глазами, с овальным, несколько загоревшим лицом, с маленькими темными усами. Напрасно я припоминаю... или я только мельком видела его где-нибудь на гулянье, в церкви? — быть может, на бале в Дворянском собрании, где однажды была я три года тому назад? — или в театре, где была я два раза в прошлую зиму, и прежде несколько раз?.. Где я видела его? — Но я должна была видеть его: его лицо совершенно живо рисуется передо мною, оно знакомо моим глазам.

В моем дневнике отмечено: «24 июня. Брат и Аркаша приехали из Казани. Оба перешли во второй курс. Я ужасно обрадовалась им».

Через два дня, кончается мой дневник. Потому я знаю, что это было на третий день после приезда брата. Я узнала, кто мой милый. Но это уже не записано в моем дневнике.

Мы сидели вечером за чаем. Брат отказался от второй чашки, встал и сказал: «Я иду к Лачинову», — я вздрогнула и вспыхнула: Лачинов — это он!

III ЛАЧИНОВ

«Лачинов — это он!» — но непохожий на того Лачинова, к которому теперь шел мой брат. Моего Лачинова нельзя было узнать в этом; мой милый, — он прежний Лачинов, сохранился только в моей верной памяти².

Теперь, летом 1852 года, Лачинову было еще только тридцать лет. Но его крепкое здоровье уже расстроилось. Я не видала его уже три года, хотя он жил в нашем городе, хотя брат очень часто бывал у него до прошлого лета, когда уехал в Казань, хотя и он до прошлого лета раз по три, четыре в год бывал у нас. Я не любила видеть таких людей. Когда я видела его в последний раз, весной 1849 года, ему было двадцать семь лет; но он задохнулся, взошедши на крыльцо нашего дома, имевшее пятнадцать ступенек; он уже и тогда говорил про себя, что смотрит в могилу. Страшно сказать отчего: он слишком много пил.

Когда он, в 1848 году, возвратился из Москвы в наш город, увидел моего брата у Ершовых, вспомнил его, пригласил к себе, и брат начал ходить к нему, отец и мать стали говорить Грише, что им неприятно это знакомство, что они боятся такого знакомого. Брат не слушался советов, продолжал бывать у Лачинова. Отец и мать сердились на Гришу, положительно приказывали перестать ходить к Лачинову; брат не слушался. Началась довольно серьезная ссора; брат выдержал ее. Через полгода, отец и мать стали успокаиваться: в самом деле, Гриша ни разу не приходил от Лачинова пьяный: они убедились наконец, что брат не портится от знакомства с ним, перестали спорить.

Но я гораздо дольше отца и матери продолжала бояться за брата. Лачинов был такой дурной человек, слышала я.

И то, что я слышала, было верно. Я спрашивала у Гриши, правда ли, что нет ни одного дня, когда Лачинов ложился бы спать не пьяный. Он должен был отвечать: правда. — И чем дольше шло время, тем хуже становились слухи о Лачинове. И все они были верны. Их пересказывали и у нас, и у Каталонских. Маменька и Анна Ларионовна не любили напрасно повторять дурное о людях.

В 1847 году, когда был еще в Москве, Лачинов получил после отца прекрасное имение, в год промотал все и приехал в наш город потому, что нечего было больше проматывать. С тех пор, он жил, по его выражению тем, что «вырабатывал»: его работа состояла в том, что он был самый лучший игрок в целой губернии. Когда он спускал все деньги, он садился «работать» в коммерческие игры, и наигрывал себе много денег, после того «давал волю» себе, — это значило, что он бросал винт, преферанс, пикет и переходил к банку и ланскне; после разных оборо-

тов счастья всегда кончалось тем, что проигрывал все, наигрывал на себя долг; тогда опять начинал «работать». — Я спрашивала брата, правда ли это; Гриша отвечал: все правда. Я не спрашивала брата, правда ли другое дурное, что говорили о Лачинове. Светская девушка должна была бы показывать вид, что не слышала этого дурного, когда была молода.

Но я не вошла в свет, и выросла в одном из простых скромных семейств, где старшие говорят при девочках и взрослых девушках, своих дочерях и племянницах, обо всем, о чем говорят между собою; не молчат при них о дурном потому, что говорят о нем таким тоном, который не раздражает воображения; не молчат потому, что с детства надобно приучать понимать, как страшна жизнь дурных людей.

Я слышала, как живет Лачинов: гадко. Года через два по его возвращении в наш город, рассказывали, что муж одной чиновницы, которая ушла к Лачинову, привел полицию взять жену; Лачинов дал денег полицейскому, а мужа выгнал в шею; через несколько дней эта женщина убежала назад к мужу, обокрав Лачинова. Лачинов был тогда в выигрыше и она унесла много денег, поэтому муж принял ее очень почтительно. Странно было бы мне сказать, что я не слышала этой истории: о ней говорили тогда все в городе, до маленьких детей. После того, у Лачинова были еще две такие же гадкие истории. Одна из его приятельниц попала в воровстве; другая, пьяная, едва не зарезала его.

Я слышала все это и мне гадко было думать о Лачинове. Я только слышала об этом гадком Лачинове и почти не знала его. Когда брат стал ходить к нему, он изредка заезжал к нам, чтобы показать, что не тяготится частыми посещениями Гриши, сам зовет его бывать почаще. Я уходила. В 1849 году мельком видела его однажды, входящего к нам; после я всегда успевала уйти к себе на мезонин и, как сказала, ни разу не видела его в 1850 и 1851 году.— В 1849 году, в начале знакомства брата с ним, я старалась убедить Гришу бросить этого дурного человека, как тоже упомянула. Но потом, перестала говорить о нем и с братом, потому что Гриша только сердился. Я почти забыла о существовании Лачинова, когда брат летом 1851 года уехал в Казань.

Этот Лачинов, гадкий человек, о котором я забыла, только совершенно закрыл от меня того молодого человека, которого я видела, когда была двенадцатилетнею девочкою.

Я видела его тогда, в 1845 году, раза четыре у Ершовых, наших близких знакомых. Татьяна Федоровна Ершова была двоюродная тетка его. В то лето семейство Лачинова жило, против обыкновения, не в деревне, а в губернском городе. Он приехал на каникулы. Он уже три года был в университете. Из разговоров его помню, что он хвалил маменьке Гришу, называл его

умным мальчиком; поддерживал маменьку в мысли, что когда Гриша кончит курс в гимназии, то не следует отдавать его на службу, а непременно должно послать в университет. Помню, маменька была очень рада, слушая, что такой прекрасный и умный молодой человек хвалит Гришу. Еще я помню, что его спрашивали, почему он не в студенческом мундире, а носит статское платье, и он отвечал, что в том году вышел из студентов и сделался вольным слушателем, и объяснял Ершовой и маменьке разницу между студентом и вольным слушателем.

Тогда, он очаровал собой всех людей нашего круга, видевших его у Ершовых. Потом, на три года он совершенно пропал из виду у них. Когда, в 1848 году, он возвратился в наш город, о нем тотчас же стали говорить: «кажется, он испортился. Он ничего не делал в Москве, только кутил. При таких дарованиях, пробыв шесть лет в университете, он приехал домой ни с чем». Через несколько дней, узнали, что он приехал из Москвы потому, что промотал все. — Потом, начались те слухи, о которых я говорила. — Он скоро перестал бывать у Ершовых.

А сначала, он был у них раза два, когда у них собирались гости. В оба раза я не видела его. Он не входил в зал, где мы танцевали. Пробыл в гостиной с пожилыми дамами, пока не устроился преферанс.

На первом вечере, он сидел несколько минут с маменькою; разговорившись, вспомнил, что у нее есть сын, который 3 года тому назад понравился ему, показался умным и любознательным мальчиком. — На другой день, между наших разговоров о вечере маменька пересказала всем нам, что Лачинов помнит и хвалит Гришу. Когда у Ершовых был опять вечер, брат подошел к Лачинову, стал спрашивать его о Московском университете. Лачинов был очень ласков, обещал давать Грише книг, журналы.

Потом, как я сказала, я видела мельком однажды Лачинова, когда он входил к нам. Спорила против него с Гришею. Потом, перестала говорить о нем с братом и не видела ни разу в остальные два года учения Гриши в гимназии. Потом, когда Гриша уехал в Казань, целый год ничто и не напоминало мне о Лачинове.

Семь лет или думать о человеке очень дурно, избегать видеть его, или большую часть этого времени, вовсе и не помнить о нем, — и вдруг заметить, что в моем милом я люблю его, каким видела за семь лет.

И тогда, в 1845 году, что ж я была для него, что ж он мог быть для меня? — Ему было тогда 23 года, мне — двенадцать. Я видела его, он и не заметил меня.

Как же могло быть это, что его тогдашние, совершенно забытые мною черты постепенно воскресали в моей памяти? — Он был до такой степени забыт мною, что его тогдашнее лицо, быть может, несколько недель рисовалось перед моими глазами,

и я не узнавала, чье это лицо; думала несколько дней и все не могла вспомнить.

Брат был с нами уже третий день. Вероятно, в эти дни, он не раз упоминал фамилию своего знакомого, — вероятно, потому что уже был у него; — лицо моего милого, весь характер моего милого были так чужды этому знакомому брату, что я слышала о нем и не вспоминала; быть может, и потому, что старалась пропустить без внимания фамилию этого гадкого человека.

И вдруг, — это было 25 июня, — в моих невнимательных ушах прозвучали громкие слова брата: «Я иду к Лачинову», и я вздрогнула, вспыхнула: Лачинов — это он!

Я поспешно допила чай и ушла в мою комнату. Весь вечер я думала: что ж это, как же это он — Лачинов? Я не могла понять ничего. Мне было только стыдно за моего милого, что он — Лачинов. Как я запишу это в мой дневник? — я писала в него все; как я запишу в него такой стыд: «я влюблена в Лачинова?» — Я не писала в этот день своего дневника. Я сказала себе: я разлюблю его. День шел за днем. Теперь, каждый день, неотступно весь день, весь вечер я думала о моем милome, все хотела разлюбить Лачинова, сделать, чтобы мой милый не был он.

— Ты задумчива, или грустна, Лиза, — сказала маменька, — я замечаю уже два дня, что ты какая-то унылая.

— У меня болит голова, маменька, — сказала я.

— Напейся липового цвета или малины.

— Напьюсь, маменька. — И вечером налила себе липового цвета. Я уже должна была притворяться! — Боже мой, что это со мною? Боже мой, какая гадкая стала и я сама! Вот что значит полюбить дурного человека! — Как я запишу это, что стала притворщицей, обманула маменьку? — И я не вела моего дневника.

Я не знаю, сколько дней прошло в этом. — Лачинов... Лачинов... Мне уже хотелось слышать о Лачинове. Но как я могу слышать о нем? Того, моего Лачинова, уже давно, давно нет. Этого дурного, гадкого, я ненавижу; об этом стыдно и гадко мне говорить. — И все-таки я заговорила.

Брат вошел в мою комнату за книгою и, взяв ее, пошел читать на мой балкон.

— Ты давно не был у своего Лачинова, сказала я.

— Лиза, это нехорошо. Зачем быть такою злою? К чему эта насмешка, даже хуже, какая-то ненависть? что он сделал тебе? И разве я надоедаю тебе им? Кажется, еще ни разу не произносил его фамилии.

— Двадцать раз. Я не понимаю, как можно быть дружно с таким дурным человеком.

— И не поймешь, потому что... — Лягушки сидят в своем

болоте, и квакают, — проворчал брат сквозь зубы. — И думают, что очень приятно жить в их болоте. Человек тонет в нем; это для них скандал, безнравственность.

— Кто ж держит его в нашем болоте?

— Лиза, я не узнаю тебя. Ты была хороша тем, что по крайней мере не говорила, когда не понимала. С чего ты вдруг вздумала быть злой? — Брат с досадой ушел.

Неужели этот разговор перевернул все мои мысли, все мои чувства? — По крайней мере, я не помню ничего другого. Правда, впрочем, я всегда была добра; правда, никогда не любила бранить людей. Я всегда любила только жалеть о тех, которых осуждала. Я думаю, что и до этого разговора я плакала, зачем мой Лачинов стал таким, о котором стыдно, гадко мне думать. Не помню, когда я начала плакать об этом. Помню только, что сначала я улыбалась, когда узнала моего милого в нем, потом стала плакать о нем.

Неужели нельзя спасти его? — думала я. — Я должна спасти его...

Я не знаю, в какой день я написала; я знаю только в какой день он прочел мое письмо.

«Я люблю вас. Я должна спасти вас. Вы должны быть добрый: вы так любите брата; он всегда защищал вас. Вы были противны мне, — как же я полюбила вас? Вы не такой, какой вы теперь. Я видела вас в 1845 году. Тогда, вы были прекрасный; все хвалили вас. Приезжайте к нам. Я люблю и спасу вас. Л. Свилина».

Это письмо хранится у меня. На нем рукою Лачинова написаны цифры 11. Это значит «11 июля». Цифры эти написаны много раз, — вверху, внизу, на строках; — будто он сидел, задумавшись, и машинально чертил, чертил...

Я положила это письмо в одну из книг Лачинова, собрала несколько книг, связала их шнурком и ждала, когда брат пошел к Лачинову. — «Гриша! — скричала я с балкона, когда он стал сходить с крыльца. — Я забыла: возьми, отнеси эти книги». — «Бросай, я ловлю», — сказал он. — Я бросила.

Что, если он развяжет? или Лачинов развяжет при нем? — «Гриша! — кричала я, выбегая на крыльцо. — Гриша, вернись! Я забыла!» — Но он был уже за воротами. Я подбежала к окну на улицу; брат шел уже дальше губернаторского дома.

Гриша принес несколько книг взамен отданных. Не сказал мне ничего особенного.

Прошло несколько дней; — сколько, не знаю. Но по числу, выставленному Лачиновым на письме, я знаю, что это было 12 июля, когда брат, вернувшись поутру от Лачинова, пришел в мою комнату и начал говорить со мною таким тоном, как никогда.

— Лиза, я не обращал на тебя внимания, потому что думал,

что ты такая же, как все эти ваши Машеньки, Пашеньки, Ташеньки. А ты из наших. Сестра души моей! Скромница!

Брат стиснул меня так, что я задохнулась, и поцеловал. — Он все знает! Лачинов все рассказал ему!

— Скромница! Ты все молчала, но теперь я понял тебя! Я не умел прежде оценить тебя, но теперь ты друг мой на всю жизнь! У нас с тобою одна дорога!.. Он начал и начал о том, что родство по крови ничего не значит без духовного родства, что мы родня по духу; — о положении женщин, о правах женщины, — о прогрессе...

Я лишь наполовину понимала его, потому что он употреблял много мудреных слов, а я тогда еще не читала почти ничего, кроме романов, повестей, стихов; — я не могла и следить со вниманием за его словами; — что будет со мною?

— Я услышал все это о тебе от Лачинова продолжал брат, нагорячившись о прогрессе и свободе: — где ты видела его? Он говорит, что ты необыкновенная девушка: ужасно хвалил тебя. — Не стыдно ли тебе, что ты так зло нападала на него? Он расспрашивал о тебе; без него, я долго не понял бы тебя, потому что ты все молчишь. Где ты видела его? — Я забыл спросить у него.

— Я нигде не видела его, — сказала я. — Слава богу, он ничего не сказал ему!

— Отчего ж он так заинтересовался тобою? Он хочет приехать к нам.

— Гриша! Боже мой, приехать к нам! — Проси его не делать этого!

— Что это значит, Лиза? Неужели мы, он и я, ошиблись в тебе?

— Ради бога, Гриша! Я боюсь его! Я не выйду к нему!

— Странно! — сказал брат, размахисто пожав плечами, и начал ходить по комнате. — Понимаю, сказал он, остановившись передо мною и обратив на меня уверенный взгляд: — Застенчивость. Он не съест тебя, — прибавил он, разразившись хохотом. — Эта ваша провинциальная дикость, пояснил он одобрительно.

— Все равно, Гриша: застенчивость, дикость; но умоляю тебя, проси его не быть у нас. Ты должен сделать это.

— Хорошо, я скажу; но прибавлю от себя, что я прошу его приехать, — покровительственно сказал брат: — это смешно, Лиза, и никто не простил бы тебе такой провинциальной наивности. Но я понимаю, что нельзя же вдруг бросить предрассудки.

— Ради бога, Гриша, исполни мою просьбу, — сказала я ему на другой день поутру, видя, что он идет к Лачинову.

— Я сказал, что передам ему твое желание; но прибавлю, что смотрю на это, как на ребячество.

Он ушел. В двенадцатом часу, я услышала шум экипажа,

быстро въезжавшего на наш двор. Это он, подумала я, и убежала в свою комнату. Это был он вместе с братом. Я слышала голоса их и маменьки в гостиной.

Через полчаса, брат вошел в мою комнату. — Что ж, Лиза, так и не выйдешь?

— Нет, сказала я.

— Пойми, что это глупо. — Брат прошелся по комнате и остановился передо мною: — Пойдем. — Я сделала отрицательный знак. — Нет? Ну, как хочешь. — Он опять походил по комнате и остановился: — Пойдем же, говорю тебе. — Нейдешь? — Ну, хорошо же. — Он еще сердитее нахмурился и ушел.

Чем он грозит мне? — Неужели он приведет его сюда? — Я сошла до площадки на повороте лестницы с моего мезонина и стала прислушиваться к разговору в гостиной. Маменька и Лачинов говорили о городских новостях. Брат молча ходил по комнате; остановился, — вероятно, перед Лачиновым, и сказал своим густым басом:

— Вы говорили вчера, Петр Николаевич, что любите хорошие виды: не хотите ли взглянуть, какой славный вид на Волгу с нашего балкона? Пойдем.

Я сбежала до последней ступеньки лестницы. — «Уйду к Машеньке».

— Нет, Гриша. Мне трудно входить на лестницы, вы знаете. Слава богу! — Я вернулась на свой мезонин.

Скоро Лачинов уехал. Брат весь день хмурился на меня.

Через два дня, брат и Машенька вздумали, что можно бы ехать за город. Я всегда была рада этому. Наши старшие всегда соглашались, если лошади не были утомлены утреннею ездой по хозяйству. Решено было: поскорее обедать и ехать в сад Громова.

Так же, как сад Буркина, сад Громова хорош тем, что при нем есть большая роща. Дорожки по отлогой части ее усыпаны песком, и в главной аллее сделаны дерновые скамьи. В середине сада устроена китайская беседка.

В половине июля, съемщики садов еще не боятся за яблоки, когда приезжают посетители с детьми. Нам предложили беседку. Наши старшие, погулявши по саду, расположились в ней. Дети остались около качель, которые сделали на двух ветлах брат и Аркаша. Аркаша остался присматривать за детьми. Мы с Машенькою и братом пошли гулять по роще.

Мы прошли несколько дорожек, вышли в главную аллею. Впереди нас на дерновой скамье, сидел мужчина в сером пальто и чертил палкою по песку. Широкие поля соломенной шляпы закрывали верхнюю половину его лица, наклоненного к земле. Сердце тоскливо забилося во мне. Вот зачем брат устроил эту поездку! Что будет со мной?

При нашем приближении, мужчина встал. Я побледнела, хоть предчувствовала, кто он.

Лачинов поклонился мне и Машеньке. — «Я был в беседке, и мне сказали, что вы здесь». — Он пошел подле меня. Брат взял Машеньку под руку и они замедлили шаг. Я осталась впереди, одна с Лачиновым.

Мы шли молча. Я не смела поднять глаз от земли. Я слышала, что шаги Машеньки удаляются; удалились.

— Безотраднa ваша жизнь, Лизавета Арсеньевна, сказал он и замолчал.

Я шла, потупив глаза в землю.

— Темна, безотраднa ваша жизнь, Лизавета Арсеньевна. Бедная вы! — опять сказал он тихо и замолчал.

Грудь моя надрывалась.

— Будьте добры, сядем. Я очень устаю ходить.

Он взял меня за руку и сделал шаг в сторону аллен, к дерновой скамье. Я уступила движению, подводившему меня к скамье, и села подле него, не поднимая глаз от земли.

Он сидел, нагнувшись, и чертил палкою по песку.

«Для кого расцвела? Для чего развилась?» — тихо проговорил он: — Бедная вы, Лизавета Арсеньевна. — И опять замолчал — вы очень добрая, Лизавета Арсеньевна. Жаль вас.

Я давно плакала.

— Зачем родятся такие девушки, как вы? — Им некого полюбить. Я не стою того, чтобы любить меня.

— Я так давно полюбила вас! — Я стерла слезы и подняла глаза на него; — он, он, мой милый! Унылый, бледный, больной, но он! Его добрый взгляд! — Я так давно полюбила вас! — Я бросилась на шею ему.

Он тихо удержал мои руки, не допустил меня обнять его. — Нет, я не стою того, чтобы любить меня. Вы раскаялись бы. — Он тихо заставил меня сесть.

— Нет, я знаю, вы такой же, как были тогда... Любите меня. Кого же мне любить... Я так давно полюбила вас...

— Вы позволите мне бывать у вас, Лизавета Арсеньевна? Вы сохраните доброе расположение ко мне. Но вам нельзя любить меня.

Он встал, подал мне руку, и мы медленно пошли к нашим, к беседке.

Он просидел с нашими до позднего вечера. — Я не могла оставаться с ними в беседке. Я опять ушла на ту скамью. — Я боялась, что брат придет ко мне и станет говорить. Нет, он не пришел; никто не приходил, ни Машенька, ни Аркаша. Никто не помешал мне... Потом, пришел Аркаша и стал рассказывать мне о Казани. Всегда все были добры ко мне. И потом, Аркаша никогда ничего не говорил мне.

Лачинов уехал несколько раньше нас и взял с собою брата.

После этой прогулки, обращение брата со мною совершенно переменялось. Он сделался очень внимателен ко мне; стал учить меня по-французски; и Аркаша иногда занимался со мною французским языком. Когда они уехали в Казань, я уж могла одна продолжать свои занятия.

Брат изменился ко мне и в другом. Он перестал вмешиваться в мои отношения к Лачинову.

Лачинов был у нас раз десять в эти два месяца до отъезда брата. Иногда мы сидели вместе,— то есть, и мы, и Каталонские; иногда, мы втроем: он, я и маменька, или он, я и брат. Но больше, мы с ним вдвоем, в моей комнате.

Маменька очень полюбила его.

— Я не понимаю вас, Петр Николаевич, говорила она,— как же это можно, не иметь силы воли? разве человек не должен иметь власть над собой?

— Я не понимаю вас, Петр Николаевич, говорил брат,— почему же не кутить, когда нечего делать? но если видишь необходимость бросить это, как же не бросить при наших стремлениях? И кроме того, это скоро надоедает.

Может быть, я не умела бы даже и теперь объяснить, как мог Лачинов упасть до такой степени. «Дурная привычка при слабости характера»,— говорила маменька и брат, говорил обыкновенно и сам он.— Во время его первой молодости, пьянство было модою в кругах передовой молодежи. Потом, он попал в дурное общество. Так погибали многие по слабости характера. Но полагается ли кто-нибудь на бесхарактерного человека? — На Лачинова полагались все. Если он скажет: «это будет сделано», все знали, что будет сделано. Не было примера, чтобы он отступался от дела, за которое брался. Не он поддавался влиянию других в безобразной жизни: он господствовал над компаньонами своего грязного кутежа, седыми псовыми охотниками, покровителями цыганок. Они спрашивали его совета, делали его решителем своих гадких ссор. — Сначала, он числился в канцелярии губернатора; он имел влияние не только на него, и на канцелярию. Сохранил силу над губернатором и теперь, когда был заседателем уголовной палаты, а в палате господствовал: сменил секретаря, заставил молчать предводителя, и вел все дела. Это ли называется бесхарактерным человеком? — И когда он говорил про свою жизнь: «это от бесхарактерности», надобно было только видеть и слышать, как спокойно, холодно, небрежно произносил он эти слова, и вы убеждались, что они пустая отговорка: люди слабого характера не говорят о своей бесхарактерности с таким равнодушием.

Поэтому, мне больше нравятся те слова, которые он говорил, когда хотел говорить.

IV

Я И ЛАЧИНОВ

На другой день после нашего свидания в аллее, брат обедал у него. Вечером, они приехали вместе. Я не пошла вниз: что стали бы мы говорить при других? Я ждала: он взойдет ко мне; мы будем одни.

Он взошел вместе с братом. Теперь, брат не выдал меня ему: брат понял мой умоляющий взгляд и оставил нас.

— Вы очень переменялись в эти три года, — сказал он, когда мы остались одни. — Я не узнал бы вас.

— Что пользы, Петр Николаевич? — сказала я.

— Я хотел видеть вас, чтобы отдать ваше письмо, сказал он. — Я не хотел доверять его Грише, я не мог подвергать вас опасности, возвращая его в книге. Я не отдал его. Это потому, что я не видал вас три года. Вы много переменялись. Я не отдам его. Вы много переменялись.

— Что пользы, Петр Николаевич? — сказала я. — Я понимаю свое безрассудство.

— Нет, Лизавета Арсеньевна: оно не в том, о чем вы думаете, сказал он.

Ему нетрудно было угадать мысль, которая возвратила меня к унылому благоразумию. Все говорило о ней: березовая мебель нашей гостиной, ситцевое платье матушки, белые стены моей комнаты без обоев, белые полосы ее крашеного пола, простые крашенные стулья, кровать, столик в ней, мое кисейное платье, мытое два раза.

— Ваше безрассудство не в том, о чем вы думаете, Лизавета Арсеньевна, — сказал он. — Если б я мог перемениться... Но это невозможно. Выслушайте меня: я буду говорить с вами откровенно.

Мне странны были слова, которые я услышала от него. Тогда я мало понимала их; не совсем понимаю и теперь. Но помню. Мы часто возвращались к этому, когда я говорила, что не верю в его бесхарактерность, и доказывала, что он должен перемениться, и может, если захочет.

— Правда ваша, — отвечал он на это, — у меня нет недостатка в силе воли; но моя воля не имеет причины изменяться. Я давно потерял охоту дорожить собою; потому что потерял всякое уважение к себе. Не подумайте, что моя пошлая жизнь отняла его у меня. Нет: пьянство, игра, кутеж, эти вещи не важны; я стыдился б их лишь тогда, если бы думал, что они в самом деле занимают меня. Я знаю, что если бы захотел, без усилия бросил бы эти пустяки. Я выше их; они не марают меня передо мною самим. Но есть другая вещь, над которою я не властен: она настоящая причина моего неуважения к себе.

« — Ваш брат не может согласиться со мною; не согласитесь и вы; но по крайней мере вы видите, что я говорю искренно. Я пренебрегаю собой за то, что ни к чему не гожусь. Когда явилось во мне это сознание, я безусловно отдался всяким пошlostям, потому что не для чего стало беречь себя. В этом чувстве разница между мною и другими.

«Ваш отец служит и думает, что его служба полезна обществу. Как он понимает надобности и пользы общества, это все равно. Другие могут понимать их лучше, нежели он; но точно так же думают, что служат им. Они уважают свой труд. Я много работал, когда был чиновником особых поручений; теперь работаю еще больше: я веду все дела в палате. У меня остается гораздо больше свободного времени, чем у вашего батюшки и у других, о которых говорят, что они служат усердно. Но это лишь потому, что я работаю гораздо быстрее их: я в пять минут разбираю дело, над которым они сидят по суткам; пишу на одной странице то, что они растягивают на десять листов. Я делаю гораздо больше, чем они. Но вся эта работа — пересыпанье из пустого в порожнее. Нельзя ничего делать так, чтобы из этого действительно выходила польза обществу. Да и нет в делах, над которыми все мы работаем, ничего такого, что относилось бы к надобности общества. Все эти дела — бессмыслица. Я толку воду.

«Вы шьете платье вашей сестре. Вы чувствуете, что эта работа и нужна, и полезна. Но представьте себе, что в вашей иголке не вдет нитка. Вы только вкалываете и вынимаете иголку. Вы заняты. Но ваше занятие не производит никакого действия: куски остаются несшитыми; вы только прокалываете их, только портите. Можно ли уважать свою работу, когда вы знаете, что нет, — и не только нет, не будет, не может быть никогда нитки в вашей иголке? можно ли уважать себя? — становись отвратителен самому себе и думаешь: пропадай я, того я и стою, туда мне и дорога, в пошлость и бессмыслие.

«Вот разница между мною и солидными людьми. Я работаю так же, как они, больше, лучше, чем они. Но я вижу, что в наших иглах нет ниток. Они этого не видят и чувствуют себя людьми почтенными. Я пренебрегаю собою, а их даже и не презираю: я не считаю их людьми. — Они жалуется на мою гордость; мне, высказывать свою гордость перед ними? — Я не достаиваю их этого. Я любезен и снисходителен с этими кретинами. Но их стыдит то, что у меня нет зоба.

«Есть другие люди; — больше юноши; но иные остаются такими и до моих лет, и до старости. Здесь их мало; вы, я полагаю, видели только один образчик их — это ваш брат; немножко таков же и его товарищ. Они имеют убеждения, — те же самые, какие имею я. Но они думают, что когда-нибудь могут сделать что-нибудь для их осуществления; что уж и теперь могут сделать что-нибудь. Поэтому, они уважают себя в настоя-

щем, дорожат собою для будущего. Я не могу разделять их самообольщения. Переделать общественную жизнь! — об этом хорошо было мечтать дедам нынешних французов: они не имели никакого исторического опыта. Я вижу, что во Франции, слава богу, все остается попрежнему, несмотря на шестидесятилетние хлопоты филантропов и революционеров. Попрежнему, господствуют предрассудки, голодает народ, наживаются плуты, самовластвуют администраторы, раболепствует толпа. Но то, еще Франция. А мы живем в России. Переделать по нашим убеждениям жизнь русского общества! — В молодости, естественно думать о всяческих химерах. Поэтому, я снисходителен к тем фантазерам, которые не старше вашего брата. Но в мои лета было бы стыдно сохранять наивность. Человек неглупый должен рано отстать от нее. Они такие же слепцы; они тоже не видят, что в игле нет нитки. Я уважаю их превосходные желания, — смеюсь над ними с горем пополам. Я даже не могу завидовать им, хоть их самообольщение и дает им возможность дорожить собою. Оно слишком нелепо. Дорожить собою — это приятно; но быть глупым — я не могу жалеть о том, что я не мальчишка. Я давно стал совершеннолетним, давно увидел, в каком обществе я живу, какой страны, какой нации сын я. Хлопотать над применением моих убеждений к ее жизни, значило бы трудиться над внушением волю моих понятий о ярме. К чему же пригодны мои убеждения? — ни к чему. Они бесплодны, я презираю их. А они — самое лучшее, что есть во мне. Как же, презирая их, не презирать мне всего остального в себе, не презирать всего себя.

«Зачем же я стал бы дорожить собою? — человек, ни на что не нужный, убивай как-нибудь свое время и самого себя.

— «Измениться? — Зачем?»

«Для такой нации, как моя, хорош я и такой, каким вы видите меня. Лучшего не нужно ей. Я не дурак, чтобы предлагать то, чего не нужно никому».

Он не скрывал от меня, что он жалок: потому что я искренно плакала о нем.

Но гораздо больше, нежели о себе, он говорил со мною обо мне.

«— Вы видели меня, когда были двенадцатилетней девочкой; потом слышали обо мне дурное и, если думали иногда, то лишь с отвращением; потом совершенно забыли о моем существовании; как же вспомнился вам юноша, которого видели вы только в вашем детстве и который тогда исчез из ваших воспоминаний, лишь только исчез из глаз?»

«Двенадцатилетний ребенок, вы забыли меня; но прошли долгие годы и в вас начала пробуждаться потребность любви. Вы стали осматриваться около себя, кого бы полюбить. Некого. Старались хоть припомнить себе, кого бы могли вы полюбить:

нет, не только между людьми, окружавшими вас, даже между теми, которые вспоминались вам, не было человека, о котором приятно было бы вам подумать. Вам надобно было дойти в этом обзоре назад до лет вашего детства, до его мимолетных впечатлений, ничтожных, ускользающих от вас, чтобы вам представилось хоть одно лицо, от которого вы не отвернулись бы.

«Почему ж не могли вы не отвращаться от людей, которые были подле вас, или хоть когда-нибудь были более близки к вам, чем этот едва заметный для вас юноша? — Вы говорите «я горда, я мечтательница». Нет, Лизавета Арсеньевна, это напрасно. Дело просто и никак нельзя приписывать его вашей вине.

«В ваш круг проникают средства развиваться, становиться в уровень с передовыми людьми общества и по образованию, и по нравственным потребностям чрез это приобретать и внешние формы развитых людей, то, что называется хорошим тоном. Юноши вашего круга, которым удастся получить такое развитие, выигрывают. С восемнадцати, с двадцати лет они видят перед собою карьеру, недоступную тем их товарищам, которые остались на степени развития их отцов, пожилых столоначальников и тому подобных маленьких людей. И общество видит, что этим юношам предстоит хорошая карьера. Потому, для них открываются двери кругов, которые гораздо выше их родного, темного и скудного. В тридцать лет, ваш брат будет занимать положение, равное людям, которые родились в семействах нашей провинциальной аристократии, — быть может поднимается уже выше их. Это все знают. Как же эти семейства не стали бы принимать его и теперь, как равного их детям?»

«Могут ли ваши развитые молодые люди отказываться переходить в эти высшие круги? могут ли оставаться в своем родном? Это было бы нелепостью. Кто не предпочтет хорошую обстановку дурной? И вот, все молодые люди вашего круга, в которых есть ум, энергия, образованность, выходят из него в общество, которое выше, богаче, изящнее вашего. У вас остаются только те, которые во всем далеко отстали от своих товарищей, только те, которые забракованы обществом.

«И если б эти забракованные оставались людьми без претензий! — но и того нет. Они не успели сделаться людьми образованными, потому что у них нет любви к просвещению, или они слишком обделены умом. Но они слышали кое-что и хотят играть из себя просвещенных людей. Они рассуждают о литературе, об искусстве, обо всем на свете, — и каждое слово их дерет вам уши. Они не могли войти в свет, потому что сн не нашел в них светских качеств; но они видели кое-что, и воображают, что умеют держать себя светскими людьми: танцуют, любезничают; — и в каждом их движении — грациозность обезьяны.

— Не все наши молодые люди имеют претензии, не все смешны, — возражала я.

«— Не все, — отвечал он, — но эти скромные, несмешные молодые люди вашего круга еще ступенью ниже смешных. Они тихи, смирны, потому что другие молодые люди беспрестанно напоминают им о их ничтожестве, а ваши подруги не скрывают презрения к ним. Они — забракованные даже вашим кругом. Это идиоты. Вы можете жалеть их, быть ласкова с ними, — но только потому, что чувствуете себя безопасною от них. — А попробуйте представить себе, что кто-нибудь из них женится на порядочной девушке — вы содрогнетесь. И невозможно не содрогаться, когда животное, — хоть бы и самое кроткое, — получает власть над человеком.

«Жалка судьба девушки нашего круга, когда она становится развитым человеком. Она лишается всякой вероятности счастья. Ей нет хода вперед. Она остается привязана к той мелкой, скудной, неподвижной жизни, в которой прозябают люди, оброченные обществом. Может ли она подняться, как ее брат, может ли свет принять ее? Бедность молодого человека не мешает ему ничем отличаться от других людей, с которыми он равен по развитию: его костюм не кладет на него клейма унижения. На нем то же черное сукно, та же шляпа, те же сапоги, как у самых богатых светских людей. Кто одет богаче его, тот франт, глупый человек дурного тона, общее посмеище. Роскошь женского туалета не имеет никакой границы, кроме денежных средств. Небогатая девушка прикована к своему кругу уже платьем своим. Она была бы пария, если бы показалась в общество, которое выше ее состояния. И как явится она в него? Куда может она показаться без матери, тетки, старшей сестры. Как бы ни была она развита, перед нею заперты двери общества, в которое уходят из ее круга все порядочные молодые люди».

— Ни одна умная девушка нашего круга не жалеет, что большой свет недоступен для нее, говорила я: — мы понимаем, что нас там ждали бы только ежеминутные унижения, огорчения. Некоторые из нас попадают в него: гувернантки выходят из нашего состояния; можем ли мы завидовать их судьбе? Это самые несчастнейшие из нас.

«Я вовсе и не говорю, Лизавета Арсеньевна, что жизнь девушек без состояния была бы лучше, если бы светское общество открывалось для них: постоянно видеть пренебрежение, испытывать унижение, быть ежеминутно отталкиваемыми назад — тут нет ничего завидного. Но это плохое утешение.

«Развитие, которое так выгодно для братьев, убийственно сестрам. Девушки вашего круга губят свое счастье, стремясь к образованию. Впрочем, как винить их за безрассудное влечение к нему. В чем могут они находить отдых, развлечение от обременительных мелких забот, скучных трудов, утомительного одобрения своей жизни? — Только в книгах. Поэтому не осуж-

дайте себя, Лизавета Арсеньевна. Как было вам не полюбить эту единственную отраду, чтение?

«Но легко ли вам оттого, что вас нельзя порицать? — Вы стали гражданкою мира, недоступного вам в жизни; его прелесть отняла у вас возможность находить удовлетворение себе в состоянии, из которого нельзя вам выйти. Где в вашем кругу мужчины, которые сколько-нибудь соответствовали бы вашим требованиям? — Чтобы нравиться вам, человек должен быть неглуп, образован. Все такие люди ушли из вашего общества. Они не женихи вам, они даже не кавалеры вам в танцах. Они танцуют не в ваших тесных комнатах, а в больших залах, где нет вас, они шепчут слова любви не вам, а девушкам, туалет которых для одного бала стоит больше, чем все расходы для вашего туалета за целый год, больше, чем все ваше приданое. Между ними они находят и невест себе.

«А вы? — вам остается выбирать между людьми, которые не годились для незнакомых вам, более счастливых соперниц; — между людьми, которых не пускают в залы, где можно встретить ваших более счастливых соперниц.

«Вам остаются только забракованные. Что ж удивительного, что вам некого любить? как назову я вас слишком разборчивою за то, что вы не находите кого полюбить? — Нет, вы правы.

«Но легче ли вам оттого, что вы права? — Бедная вы, Лизавета Арсеньевна».

— Что говорить обо мне? — Бросим это, — печально говорила я.

«— А еще напраснее было бы говорить обо мне. Говорить ли? — Теперь вы несколько познакомились со мною. Кажется ли вам и теперь, что вы любите меня? — «Нет», отвечаю я вам за вас. Вы видите, что я человек благородный; — я надеюсь, вы уважаете меня. Но вы чувствуете непобедимое отвращение ко мне. Вы знаете, что я делаю принуждение над собою, когда являюсь к вам таким, что вы можете выносить мое присутствие. Это для меня парадные выезды. Вы знаете, что я дома не таков. Вы не можете без омерзения думать о том, как идет моя жизнь.

«Ваши мечты требовали, чтобы перед вами рисовалось какое-нибудь лицо. Между мужчинами, которых видели вы около себя, не было ни одного, который не отталкивал бы от себя вашу мысль. Если бы случилось вам бывать в галлереях, вы не вспомнили бы меня: на какой-нибудь картине вы нашли бы все, что было надобно вам. Если б одарены были вы сильной фантазией, вам не было бы надобности и в картине, ваше воображение создало бы лицо с живыми чертами. Из того, что вам вспомнилось мое лицо, вы должны убедиться, что вы напрасно считаете себя мечтательницею: ваша фантазия очень слаба; она не могла создать ничего.

«Что ж такое для вас тот я, о котором любили вы думать? —

только портрет. Не человек, нет, — лишь мечта, которая при-
своила себе черты одного из людей совершенно чуждых вам.
Она не имеет ничего родного с человеком, который теперь сде-
лался вашим знакомым. Я совершенно чужд вашей душе».

— Нет, — говорила я.

— Согласен. Вы видите во мне человека, который располо-
жен к вам и вы награждаете его расположением за расположение.
Мы оба очень искренно желаем всего хорошего друг другу. Но
вы ужаснулись бы мысли разделить мою жизнь.

— Вы должны измениться, говорила и говорила я ему.

— Вы желаете мне добра, но с такою же надеждою, как я
желаю вам встретить человека, который был бы достойным,
хорошим мужем для вас, — говорил он в ответ.

Он был совершенно прав. Очень скоро я убедилась, что он
не в силах изменить свой образ жизни; и все отвращение, какое
внушала мне его дурная жизнь прежде, когда я знала ее только
по скромным неясным порицаниям родных, было ничтожно перед
негодованием и ужасом, какой я чувствовала теперь, когда раз-
говоры брата с Лачиновым яснее обрисовали для меня, как жи-
вет Лачинов, как погряз в свою пошлую жизнь, с какими
людьми проводит он время. Лачинов щадил меня, избегал спор-
ов с Гришею; но брат преследовал его неотступно, и он иногда
не выдерживал, отвечал. Он не употреблял грубых слов, на ко-
торые был щедр мой брат в своих нападениях; но его мысль,
всегда одетая в скромную форму, леденила меня своим характе-
ром: он безвозвратно опустил в пошлость, гадость.

— Ты должна знать, Лиза, — говорил брат, — что ты обя-
зана быть необыкновенно благодарна Петру Николаевичу за
самопожертвование, которое он делает для тебя.

— Гриша, к чему это? — говорил Лачинов.

— Нет, позвольте, Петр Николаевич, я не могу утаить таких
милых признаний. — Послушай, Лиза. — «Ваша сестра, Гриша,
славная девушка; я очень люблю ее; и лицо ее нравится мне.
Но я должен принуждать себя, чтобы ехать к ней, и когда воз-
вращаюсь к себе домой, говорю: Уф! слава богу, теперь вздохну
свободнее! — поверите ли, Гриша? мне неприятно быть не
только с нею, даже с вашей матерью. Я должен стесняться:
хотелось бы выпить водки или позабавиться пуншем; а при них
нельзя. Но главная неприятность в том, что я уважаю их. Какая
компания женщина, которую уважаешь? — то ли дело, Степа-
нида Михайловна? — с нею и выпьешь, и поругаешься, и если
есть охота хоть подерись». — Не постигаю, как можете вы,
Петр Николаевич, выносить близость этой Степаниды Михай-
ловны, или, по-вашему, Стеньки: от нее разит, как из бочки.

— Вы преувеличиваете, Гриша: она вовсе не пьяница.

— Она не пьяница? Когда она и не пьяна, у нее пьяное лицо.
Она стала безобразна от водки. И всегда растрепанная, грязная.

— Вы не понимаете, о чем вы говорите, Гриша.

Я не знаю, если бы я услышала говорящим такие вещи человека, в которого действительно, была бы влюблена, то, мне кажется, я охладела бы к нему. А я не любила Лачинова. Он говорил правду: его лицо было взято для моих грез моею памятью только по недостатку всяких других воспоминаний и только потому, что я не видала хороших картин, а воображение мое не имело столько пылкости, чтобы я могла представить себе с красками жизни лицо с какой-нибудь гравюры.

После того, как Лачинов был у нас во второй раз, маменька сказала мне: — Лиза, мне кажется, что ты нравишься Петру Николаичу. Не дай бог, чтоб он нравился тебе.

— Не тревожьтесь, маменька: он не может полюбить меня.

— Не знаю; но я должна сказать тебе, Лиза, что мы с твоим отцом никогда не согласились бы. Итти за него, значило бы тебе губить себя.

Я не знала, что отвечать ей. Но если бы этот разговор происходил через две, три недели, я сказала бы: «не тревожьтесь за меня». — Мать не дала мне случая сказать это: она не возобновляла своего предостережения; вероятно, потому что ее опасение рассеялось.

Только в первые два, три свидания с Лачиновым, когда мысль о нем действительно еще не пересилила во мне мечты о нем, как о воздушном воспоминании, я не чувствовала неприятного содрогания при пожатии его руки. Потом, ее прикосновение было гадко для меня, как прикосновение прокаженного. Это неприятное ощущение доходило до того, что у меня выступал холодный пот, я чувствовала тошноту.

Он заметил это и не оскорбился. Он был добр. Он продолжал подавать мне руку, когда входил, когда уходил, и спешил отнять ее, чтобы не мучить меня. Наконец, я захотела одолеть себя и крепко пожала его руку. Он улыбнулся и когда уходил в тот раз сказал: «До свидания, Лизавета Арсеньевна; мы с вами так дружны, что нет надобности подавать руки при встрече и прощанье; это церемония, которой я не люблю». — Я покраснела и заплакала. Он засмеялся и после того стал крепко жать мою руку, как в первый раз. Я приучилась одолевать свои нервы, но не могла приучить себя к тому, чтобы не чувствовать отвращения.

По отъезде брата, Лачинов перестал бывать у нас. Прошло два, три месяца. Я провела их в напрасной борьбе за сохранение моего милого. Его светлая поэзия потускла. Вместе с его чистыми чертами вспоминалась мне грязная жизнь циника, который валялся в отвратительной пошлости. Действительность отнимала у меня мечту, я теряла моего милого. Реже и реже он являлся мне, и тотчас исчезал, едва явившись; сцены фантастических

свиданий с ним сменялись воспоминаниями о действительных разговорах с Лачиновым и эфирная радость небывалой любви переходила в грусть о том, что мне некого любить, что я не люблю никого, что у меня нет и надежды встретить человека, которого можно было бы полюбить.

Прошло три месяца, и мой милый исчез. Остался только Лачинов, которого я жалела, уважала, но от которого убегала моя мысль. Я уже не мечтала. Я не думала ни о чем, кроме тихих, скромных забот, ежедневных семейных дел; я стала спокойна и благоразумна, но печальна. Бестревожно-скучны, рассудительно-унылы тянулись мои дни, и я внимательно читала книгу, когда ложилась спать, и скоро засыпала.

Мы не виделись с Лачиновым, и до меня не доходило никаких слухов о нем. Изредка, отец и мать вспоминали, как жаль, что такой умный, прекрасный, добрый, благородный человек губит себя, погубил себя... В этом не было ничего нового.

Было 4 декабря, — именины Вареньки Каталонской, второй сестры Машеньки. Мы были вечером у них. Съезжались или сходились гости. Приехали Ершовы. Ершов сказал нам:

— А что, вы слышали, или нет: Лачинов умер.

— Умер? — Отчего? — спросила маменька, опечаленная: она очень любила Лачинова.

— От того, от чего следовало ожидать: от водки, сказал Ершов.

Все стали жалеть и потом говорить, что это надобно было предвидеть.

Теперь, жалость заглушала во мне неприятное чувство к нему. Я много и долго плакала о человеке, которого я не могла видеть без отвращения, который медленно убивал и убил себя недостойным, гадким образом жизни, но и в своем падении оставался добр, благороден... который выказывал искреннюю, теплую дружбу ко мне...

— Сказать ли? — я несколько раз плакала о том, что я не красавица. Никогда, ни прежде, ни после я не огорчалась этим. Но тогда я плакала. — «Если б я была красавица, он полюбил бы меня, и я спасла бы его», — думала я. — Ребяческая мысль. Но я не стыжуся ее: я ошибалась, но оттого, что мне было горько, что он погиб.

V

БОГАТОЕ ПРИДАНОЕ

На рождество, мы получили от брата письмо, в котором он говорил, что переходит из Казанского университета в Петербургский, потом, он стал писать из Петербурга, что его денежные дела очень хороши; — что он откладывает деньги; — что он не думает никогда иметь надобности в отложенных неболь-

ших деньгах; что поэтому он думает употребить их на пользу родных. Какие дела у него? откуда деньги? — он не писал; но маменька и я без труда отгадывали: он уж и в Казани имел уроки; в Петербурге это легче, и уроки бывают лучше. Мы догадывались и о другом: он очень серьезный человек; может быть, он получил работу в каком-нибудь журнале. Мне показалось даже, что я вижу слог и мысли брата в некоторых статьях одного из хороших журналов. Я спрашивала его. Он отвечал: «это статьи не мои, но действительно, я работаю в журнале, который ты назвала».

22 или 23 марта нам принесли повестку, что получено письмо с 1 500 рублей, на имя отца. Мы были удивлены. Неужели это прислал брат? Невозможно. Где он возьмет столько денег? — Отец пошел за непонятною посылкою, сказав, что зайдет домой с почты, — и не возвратился; пришел уже только к обеду, из своей палаты. — «Что это за письмо? Какие это деньги?» спросила матушка за обедом. Отец сказал, что в повестке была ошибка: прислано 150, а не 1 500 рублей, — и что это прислал Дроздов, — наш знакомый, Аткарский уездный заседатель, — просит отца заплатить его долг в лавку Новожилкина, и пожалуйста не забыть прислать расписку; этою прибавкою о расписке отец даже обижался. И правда: она была очень неделikatна.

Пришло 27 марта, день моего рождения. По обыкновению, Саша прибежала поздравить меня, когда я была еще в постели, и принесла подарок, приготовленный маменькою: кусок барежа на платье. Я пошла вниз, разливать чай. Мы кончили его. Я встала уйти к себе, одеться для приема подруг и их братьев, которые начнут приезжать с поздравлениями. «Постой, Лиза, — сказал отец, подавая мне распечатанное письмо. — Прочти это». — Я взглянула: рука брата; я вскрикнула от удивления, прочитав первую строку. — «Лиза, — писал брат. — Прошу тебя принять от меня в подарок 1 500 рублей; эти деньги совершенно не нужны мне». — «Милые папенька и маменька, — продолжал он. — Я уверен, что вы одобрите мою мысль. Лизе нужно приданое. Когда подрастет Саша, у меня вероятно будут какие-нибудь средства. А теперь Саше еще только пятнадцать лет; о ней можно подумать после; пока следует думать только о Лизе». Потом, он прибавил, уже для всех нас, что получил эти деньги за роман, который напечатали в журнале; называл этот роман; мы уже читали его. Он был не очень хорош, но длинен. Брат жалел только о том, что уже не может скоро написать другого романа: истощил на первый всю кладовую своих впечатлений и наблюдений.

Только через восемь лет после того, в 1861 году, через три года после моего переселения в Петербург, я узнала, что и роман брата был такою же выдумкою, как присылка долга купцу Но-

вожилкину от Дроздова: брат лишь читал корректуры этого романа; чтением корректур ограничивалась и вся его работа для журнала. Только в 1861 году, Гриша сказал мне истину: о деньгах то, чего не могла и подумать, о смерти Лачинова то, чего никто не подозревал в нашем городе. Лачинов умер не от вина: он ускорил свою смерть, приняв яд. Он отравил себя 4-го декабря (1852), а 2-го отправил к брату письмо, которое через восемь лет Гриша отдал мне.

Я не буду приводить здесь его начала: оно написано Лачиновым в тоне грубой насмешки над самим собою. Он советует брату помалчивай до поры, до времени о том, что говорится ему, как умному человеку; говорит, что его здоровье, давно ставшее дурным, сделалось теперь совершенно несносно; что он вздумал наконец полечиться; что медики сказали ему: если вы будете строго соблюдать гигиенические правила, не будете брать в рот капли вина, уедете в Алжирию, то ваша жизнь может продлиться на три, четыре года, и ваши страдания облегчатся. Но вы не можете вполне избавиться от них и на это время; а во всяком случае ваша смерть не за горами. «Вы всегда отдавали справедливость моей логике, Гриша, — продолжал Лачинов. — Я рассудил, что не стоит тянуть такого мерзкого существования; если вы обдумаете мой вывод с общею нам основательностью, вы согласитесь, что он очень рационален. Поэтому, государь мой, я решил хватить некоего зелья для сокращения пути до Леты, или так сказать, в некотором роде, реки забвения.

«Но вы, мой друг, не забудете меня. Я любил вас. И когда-нибудь, вы, люди другого поколения, станете снисходительнее к тем, которые загубили свою жизнь в эпоху безнадежной летаргии общества.

«Родных у меня нет, и нет человека, ближе вас. В последнее время, я старательно работал, потому что не хотел умереть с долгами, и когда перевел к себе все деньги, бывшие в обороте, оказалось, что за уплатою долгов остается 2 000 рублей лишних. Посылаю их вам. Вы исполните мою последнюю просьбу. Вы употребите часть денег на то, чтобы перейти в Петербург, чего давно хотелось вам, и устроиться в нем. Остальное, перешлите в подарок Лизавете Арсеньевне. Жаль, что мало. Но так тошно жить, что не хочется ждать, пока наша играющая братия будет опять при деньгах.

«Кстати, о Лизавете Арсеньевне. Пусть она узнает, — после, когда это не возмутит ее жизнь, — что я имел искреннюю привязанность к ней. Желаю ей встретить человека, который был бы достойнее ее, чем я. Когда мы встретились, я был утомлен жизнью, и сердце у меня было изношено. Ваш П. Л.

«P. S. В начале осени, я попробовал отстать от своего безобразия. Не мог: привык. Да и что было бы пользы? Здоровье уж никуда не годилось».

Слух о подарке, присланном от брата, наделал большого шума в нашем кругу. Теперь я имела 2 500 рублей приданого. Между девицами нашего круга очень редки такие богатые невесты.

В начале мая или конце апреля, маменька пришла вечером в мою комнату. Это бывало не часто, лишь когда встречалось какое-нибудь особенное дело; ноги маменьки были уже не молодые, а лестница на мезонин крутая.

— Лиза, я очень давно не говорила с тобою о твоих мыслях, — сказала она, — не представлялось надобности; не хотела расстраивать тебя, когда не имелось в виду случая для тебя исправить ошибку; — если ты считаешь это ошибкой и раскаиваешься. Скажи, мой друг: ты намерена оставаться в девушках?

— Не знаю, как отвечать вам на это, маменька. Я не имею никакого решения. Но мне кажется, что у меня едва ли будут женихи.

— Я тоже думаю, Лиза, что не может быть таких, которые понравились бы тебе больше прежних. Но не раскаиваешься ли ты в своих тогдашних мыслях? Тогда ты была еще очень молода и не могла понимать, что оставаться в девушках тяжело. Теперь тебе двадцать лет.

— Что ж такое, маменька? Не все ли равно, восемнадцать или двадцать?

— Ты, должно быть, не понимаешь меня, мой друг. По твоему лицу я всегда так и предполагала, что чувства твои не изменились: ты у меня, слава богу, такая полненькая, румяная. Но не огорчись, Лиза, моими словами: у тебя есть подруги, которые вышли замуж; ты не завидуешь им?

— В чем же, маменька? у меня были такие женихи, как их мужья.

— Как мне говорить с тобою, Лиза, я не знаю. Ты, в самом деле, такая, что дай бог всякой матери иметь дочерей, подобных тебе. Но скажи мне, мой друг: как же говорят тебе твои замужние подруги о своей жизни?

— Те, у которых мужья хорошие люди, хвалят их; у которых дурные, плачут. — Я все еще не понимала, о чем говорит матушка.

— Если девушка выходит за человека, с которым будет несчастна, виновата сама она, или не она, а лучше сказать, ее отец, и особенно мать: если б они обратили должное внимание на характер человека, то не было бы ошибки. Но есть многие, которые вышли замуж хорошо, и находят большое счастье в супружеской жизни. Они должны рассказывать о ней.

Только теперь, я поняла, о чем говорит матушка.

— Маменька, серьезные молодые женщины не говорят о ветреностях. Но они говорят, что в замужней жизни есть гораздо больше неприятного для них, нежели приятного; что только при очень сильном расположении к мужу супружеская жизнь бывает сносна.

— И это правда, — сказала маменька.

Действительно, это правда. Большая часть девушек в нашем кругу выходят замуж так молоды, что их мысли имеют характер вовсе не страстный.

— Зачем выходит замуж рассудительная девушка? — продолжала я. — Неужели по ветреным мыслям? — Нет, чтоб иметь уют, иметь кусок хлеба, не быть обременением для отца и матери. Без этой необходимости, ни одна умная девушка не решилась бы на замужество. Вероятно, маменька, вы заговорили потому, что кто-нибудь вздумал сватать меня. Скажите, что я обязана итти замуж; я пойду, кто бы ни был этот жених.

Теперь, я могла смело ставить вопрос.

— Бог с тобою, Лиза, какая ж теперь надобность? — с деньгами, которые прислал Гриша, у тебя 2 500 рублей. Если бы ты осталась в девушках, мы купили бы на эти деньги дом; если дожждаться выгодного случая, на 2 500 рублей можно купить такой дом, который будет давать 200 рублей дохода, или даже больше. На 200 рублей ты всегда можешь жить, не будучи в тягость никому.

Я знала, что маменька скажет это. Я знала денежные расчеты; слышала, как выгоднее употреблять деньги, — такие, какие бывают в нашем состоянии: лучше всего на покупку дома. У меня был самый простой план, который высказала матушка.

— А это твоя правда, — продолжала она, — конечно, я не заговорила бы о замужестве, если бы не было жениха. Но жених такой, что я сама, без тебя, отказала бы ему, если бы ты не имела теперь таких лет, что мне уже нехорошо говорить что-нибудь за тебя, не спросивши. Какой-то Жуков, ротный командир. Не знаю его, никогда не видывала, даже не слышала до нынешнего дня, что он и существует. Услышал о тебе, — то есть об этих деньгах, присланных тебе Гришей, и приходил в воскресенье в нашу церковь, посмотреть... Теперь, через Марью Ивановну Волкову, просит позволения быть у нас, чтобы и мы посмотрели на него, понравится ли нам. Уж по той манере, как он ищет жену, видно, пара ли он тебе. О нем нечего б и говорить, Лиза. Но это показывает, мой друг, что теперь у тебя могут быть другие женихи. Поэтому, повременим покупать дом; приданое гораздо лучше, когда состоит в наличных деньгах.

— Купим дом, маменька, — весело сказала я. — Я была бы глупа, если бы желала итти замуж. Какой муж мог бы обращаться со мною так хорошо, как вы? Когда я слышу от вас и от папеньки неприятное слово? В чем стеснена я у вас? Зачем мне итти замуж?

— Как равнодушно ты желаешь остаться в девушках, Лиза, — сказала она.

— Полноте, маменька, как вам не стыдно! — весело сказала я, обняв ее. — Какая же неглупая девушка на моем месте захотела б итти замуж?

— И то правда, Лиза, — сказала она, поцеловавши меня, — ты у меня благодарная девушка. Если говорить по совести, это и гораздо лучше.

Она задумалась.

— В самом деле, что хорошего в замужестве? — начала она, будто больше размышляя сама, нежели говоря со мною. — Надобно угождать, ухаживать. Какая приятность быть прислужницею? Это правда: если девушка не притеснена в своем семействе, то рассудок велит ей оставаться в девушках. Тут она, по крайней мере, вольный человек. Отец, мать — какую власть присвоивают они себе над взрослою дочерью, если они добрые и рассудительные люди? Они приказывают дочери, пока она мала, не имеет своего ума. Выросла она, приобрела его, они видят, что нечего командовать ею. А потом, она становится даже главным лицом в семействе: они видят, что состарились, ослабели; чувствуют, что она лучше их может рассудить, распорядиться; они уступают ей всю власть в доме. — А муж? — он всегда опекун над женою; из-под его власти не вырастешь. Вечно будь младшая перед ним, весь век смотри ему в глаза. Приятно ли это, когда есть свой рассудок?

«Конечно, бывают и такие мужья, которые сами слушаются во всем жен. Пример у тебя перед глазами: Анна Ларионовна с Василием Ильичом. Но зато опять, как же и трудно жить Анне Ларионовне? Она женщина умная; но что может она сделать в пользу своих детей? — Ничего. — Присматривай за всеми делами мужа, потому что сам он ничего не видит. А как же заменить его ум своим в делах, до которых женщина не имеет доступа? — Будешь ли за него ходить в должность, соблюдать отношения к людям, от которых зависит его служба? — Таким образом, жена и должна видеть, что мужа затирают в грязь; — затерли. Он так и умрет столоначальником. За него обидно, и за детей сердце болит. Не много завидного тоже и в ее жизни.

«Но она еще из самых счастливых в замужестве. По крайней мере муж уважает ее и человек прекрасного характера. Таких мужчин не много. Редкость такие мужья, от которых жены не страдали бы столько, сколько не могли бы, кажется, пострадать от злейших врагов. У редкого мужчины нет самовластия в характере; они ломаются над женами, как над рабынями. Редкий мужчина рассудителен; конечно, оттого, что домашняя нужда гораздо меньше касается их. Не говорю о таких, которые тащат деньги от семейства какой-нибудь плутовке; а мало ли таких? Но если и нет этого, то много ли мужей, которые не сорили бы денег с друзьями и приятелями, на вино и карты? — А жена с детьми сидит, может быть, без чаю, без сахару.

«В своем семействе и у Анны Ларионовны с Васильем Ильичом ты не видела этого; но многие ли жены так счастливы с мужьями, как мы с нею?

«Говорят: выбирай человека; всматривайся в него. Легко это

говорить; а как узнаешь его до женитьбы? — С виду прекрасный и все знают за прекрасного человека; а женится — видят, что он тиран, злодей жене. Мало ли мы видим таких ошибок при самом, кажется, основательном выборе?

«Трудное дело, страшная лотерея! И если бог дал девушке такую силу рассудка, чтобы не завидовать замужней жизни, то я всегда скажу: не следует идти замуж».

Когда пожилые женщины говорят между собою, нерассудительность мужчин, страдания жен от капризов и расточительности мужей — один из обыкновенных предметов их рассуждений. Но от порицания дурных мужей, от сожаления о несчастных женах далеко до взгляда на замужество вообще, как на горькую долю; еще дальше до признания, что следует отказываться от замужества. Напротив, — браня мужей и жалея о женах, женщины нашего круга выставляют несчастные браки, как исключение из правила; по их принципу, замужество — единственная возможность спокойной и счастливой жизни для женщины. В первый раз я слышала теперь от простой практической женщины нашего патриархального общества слова, которые равнялись отрицанию брака; — и от кого же? — от моей матери, которая жила с мужем так согласно, так любила и лелеяла его!

— Ты глядишь на меня будто с удивлением, Лиза, — сказала она. — Правда, мой друг, мы старые люди и живем по-старому. Не смотри на это. Мало ли чего думаешь? — Но что пользы говорить о том, чего нельзя исполнить? — Теперь я могла быть откровенна перед тобою, потому что это возможно для тебя, и я вижу, что ты сама уже твердо решилась.

— Решилась ли я? — нет, я только покорялась ей без ропота; — напротив, с полным спокойствием, — даже с признательностью: моя судьба была хороша.

Два года у меня не было женихов. Богатое приданое заставило их забыть о том, что я уже была выключена из числа невест. Некоторые женихи были только такие же, как те, которым я отказывала тогда, прежде. Теперь, я имела еще меньше колебания отказывать этим молодым людям нашего круга. Но моя ценность поднялась. Были другие женихи, более почетные: пожилые люди нашего состояния, вроде ротного командира Жукова, предлагавшие не надежду на свое будущее повышение по службе, а уже занятую хорошую должность. Эти женихи, конечно, были еще менее привлекательны. Отказывая тем и другим, я не обольщалась пустыми надеждами. Я понимала свое положение.

Мое приданое, хоть и стало богатым по размеру приданных нашего круга, было ничтожно. Если б оно было вдвое больше, оно все еще не имело бы такой величины, чтобы для него спустились на меня глаза людей, между которыми я могла бы сделать выбор.

Будь я девушка из семейства, которое принадлежало бы к светскому губернскому обществу или хоть было бы связано с ним,

тогда другое дело. Я встречалась бы с людьми, имеющими качества, без которых человек не мог понравиться мне. И если бы явилось расположение между мною и таким человеком, вопрос о приданом мог бы не иметь особенной важности. Я знала, что девушки, у которых было не больше или меньше денег, чем у меня, выходили за порядочных, просвещенных людей. Но это потому, что они бывали в свете. А я? — Человек порядочного общества не мог встречать меня между своими знакомыми. — Поэтому, я не могла рассчитывать на женихов лучше тех, за которых не могла итти. Я говорю: я не обольщалась.

Через несколько времени, я увидела себя во второй раз вычеркнутою из числа невест; но увидела это не с теми чувствами, как в первый раз, с лишком два года тому назад.

Тогда, я считала себя обязанною выйти замуж и успокаивала себя надеждою на счастливую случайность: может быть, как-нибудь, мне встретится кто-нибудь из людей, которые могли бы нравиться мне. Теперь, я улыбалась над этим легкомыслием и очень хладнокровно рассуждала, что подобный случай невероятен. Перемена моего полжения очень много помогла мне бросить пустую мысль, в которую я, впрочем, не верила и прежде: я не имела теперь нужды заглушать голос совести; совесть не требовала теперь, чтобы я не оставалась в девушках. Я не буду обременять родных, не изменю своему долгу перед ними, оставаясь жить с ними. Но была и другая причина тому, что я бросила несбыточные ожидания: мне было двадцать лет; я сделалась гораздо основательнее, чем была два, три года назад.

Я видела это во всем. Я перестала восхищаться пустяками, которые прежде приводили меня в восторг. Бывало, я должна была принуждать себя, чтоб не высказать желание купить лишний наряд. Теперь, я попрежнему любила быть одета хорошо, но новая шляпка, новое платье не заставляли меня прыгать от радости. Не было мне надобности удерживаться от прыжков и тогда, если мы решали ехать в сад или даже кататься по Волге — наслаждение более редкое, от которого я, бывало, сходила с ума. Я оставалась страстною читательницею; но реже и меньше прежнего задумывалась над книгою; а мечтать — я давно смеялась, когда мне случалось вспоминать, что я когда-то мечтала: как это глупо, какая девочка была я тогда!

Теперь, я давно могла бы возобновить мой дневник; у меня не бывало ни одной мысли, которую нельзя было не только записать в него, а рассказать и матушке, и Анне Ларионовне, и всем. Но, боже мой, кто ж, кроме девочек, ведет дневники? Что мне записывать в дневник?

Но я могла бы записать в него довольно много, если бы мне пришла охота записывать ощущения, которыми отразилась на мне перемена в жизни ближайшей из моих подруг, Машеньки Каталонской.

Когда я прошлым летом с трепетом увидела бедного Лачинова в аллее сада Громова, Машенька, беззаботная, ничего не понимающая шалунья, воображала, что она и Гриша очень остроумно мистифицировали меня. Меньше, нежели через полгода, Машенька стала молчать перед всеми бесчисленными хранительницами прежних ее удивительных тайн и советоваться только со мною.

VI

МАШЕНЬКА

У Василия Ильича, отца Машеньки, была сестра, Дарья Ильинична, вдова офицера. Она получала 57 или 58 рублей пенсии за службу мужа. Этих денег было бы мало на жизнь даже и в нашем городе, тогда еще очень дешевом. Но важнее пенсии было покровительство богатой помещицы, Чекмаревой. Дарья Ильинична не задаром пользовалась пособиями от нее. Когда Чекмарева летом уезжала на богомолье в Киев или Воронеж, или отправлялась погостить у сына в Чекмаревке, тетка Машеньки поселялась в пустевшем доме, охранять его от расхищения, а главное, от пожарного случая: наш город был в постоянном страхе пожарных случаев. Осень, зиму, весну, когда Чекмарева жила в городе, Дарья Ильинична занимала крошечный флигель из двух миньютюрных комнат, стоявший в дальнем углу двора. Аристократическая старуха считала дурным тоном иметь приживалок, и находила ниже барского достоинства иметь не своих крепостных экономку и дворецкого. Поэтому, Дарья Ильинична не занимала при ней никакой должности, не могла приходить к ней без призыву и часто не видела ее по целым неделям. Но когда встречалась надобность делать большие закупки по хозяйству, не на рубли, а на десятки рублей, Чекмарева присылала за вдовою офицершею и просила ее съездить на рынок или в гостиный двор: Дарья Ильинична умела купить и была честна. При поправках в доме, Дарья Ильинична целый день бродила по двору, присматривая за плотниками, чтобы они работали не как-нибудь и не уносили кусков леса слишком больших (у нас был обычай, что плотник имеет право брать каждый вечер по отрубку из мелких кусков, которые не годятся для постройки). За эти услуги, Дарья Ильинична получала, кроме квартиры в уютном флигельке, провизию, из которой сама готовила себе кушанье в крохотной кухне своего приюта, получала чай, сахар, по временам подарки деньгами, или, чаще, полотном, ситцем.

Василий Ильич и Анна Ларионовна были не очень дружны со вдовою. Дарья Ильинична, считавшаяся очень умною женщиною, слишком любила давать советы. Они виделись раз, два в месяц. Племянницы бывали у тетки чаще: бездетная пожилая женщина, она и скучала одиночеством, и любила детей; у нее

всегда были в запасе для них изюм, чернослив, орехи, леденцовые конфеты. Это еще привлекало Машеньку.

Однажды, — я полагаю, что это было в половине октября: помню, что земля была уже замерзлая, но еще не начинались большие холода, — Машенька, пробыв утро у тетки, вечером пришла ко мне сказать, что она влюблена, — «и не думай, душенька Лиза, что я влюбилась так только, как прежде»: нет, она лишь теперь поняла, что такое страсть и почувствовала, что все прежнее были пустяки, глупость; а теперь она полюбила «глубокою страстью, пламенною страстью, — ей-богу, душенька», упрашивала она меня поверить и слезы готовы были брызнуть, если б я усомнилась. — «Хорошо, хорошо, вижу», — сказала я. Тогда она с бесчисленными подробностями стала описывать мне, какой удивительный, очаровательный красавец внук Чекмаревой. Он приехал третьего дня и проживет всю зиму в нашем городе: какое счастье! к нему ныне приводили лошадей; он смотрел их, объезжал, и одну — ах! самую прекрасную! — купил. Машенька сидела у окна и, как следует, не могла досыта налюбоваться на такого красавца. Чуть не три часа, она рассказывала мне, как ловко, смело и легко вспрыгивал он в седло бешеной лошади, которую, — правда душенька! — едва удерживали за поводя два кучера, и скакал на ней по огромному двору, и спрыгивал, и она стояла уже смиренная, и он ласкал ее, и вовсе не боялся; и как «восхитительны» его маленькие русые усы; и как «обаятельны» его большие голубые глаза, и как «упоительно» — это «упоительно» нравилось ей тогда еще больше, нежели очаровательно и обаятельно, — как упоительно рисуется в «бурной» скачке его высокий, тонкий, стройный стан, «как будто прикованный к седлу, душенька, ты не поверишь»; но я верила всему; и даже тому, что «ты не поверишь, душенька, как мило» идет ко внуку Чекмаревой серый сюртук фантастического покроя, с опушкою из белых молодых барашков. Машенька упрашивала меня вообразить все это, и я каждую минуту должна была успокаивать ее уверениями, что не сомневаюсь и воображаю.

Я тогда вовсе не была расположена одобрять подобные фантазии. Разочарованная в своих недавних грезах о невозможной поэзии, встретившая вместо моего эфирного милого больное и печальное лицо доброго, но остывшего ко всему, кроме вина, человека, потерявшая моего милого, я горько смеялась над собою за глупость ребяческого романтизма. Я слушала мою молодую подругу с грустною улыбкою; она не замечала в своем восторге; а у меня недоставало духа перервать ее. По себе я знала, как сильна потребность высказываться. Я слишком хорошо помнила, как тосковала, что у меня нет подруги, с которой могла бы я делиться своими воображаемыми чувствами. «Пусть бедный ребенок имеет во мне подругу, которой не было у меня», думалось мне, — не опечалю ее холодным словом; буду внимательна, терпелива, симпатична». Это было легко мне, потому

что я любила Машеньку, как сестру. Но совесть говорила мне также, что я обязана противодействовать увлечению, пустоту и горечь которого пришлось мне узнать. — «Дружок мой, — сказала я, обнимая Машеньку при прощанье. — Завидую твоим легким грезам; но помни, что они только мечты и должны рассеяться. Веселись ими, но не верь им. Знай, что они только игра, и не войдут в твою жизнь». — Машенька со слезами стала спорить, и я должна была сказать, что лишь хотела пощеголять перед нею зрелостью своих лет; но что на самом деле, я вполне сочувствую ее пламенной страсти: так жаль было огорчать ребенка.

Впрочем, я и не тревожилась за Машеньку. Не в первый раз она бросалась на шею ко мне с известием, что она страстно влюблена. Я слушала ее восторги несколько дней; потом, она забывала о своей страсти; потом, сообщала мне, что эта прежняя любовь ее была вовсе не любовь, а только глупость, и что вот лишь теперь, — ныне поутру или вчера вечером, она узнала, что такое истинная, глубокая страсть. Моя хорошенькая Машенька, с бойкими серыми глазками, с бойко вздернутым носиком, не отличалась постоянством. Ее круглые плечики и румяные щечки показывали, что она без большого труда переносит мучения своих глубоких и пламенных страстей, которые вспыхивали едва ли не каждое воскресенье, потому что в церкви непременно видела она какого-нибудь удивительного красавца, для которого забывала всех прежних.

Но прошло три, четыре недели, и она, против своего обыкновения, не изменяла Чекмареву. Она в этот месяц чуть не через день бывала у тетки, чтобы видеть его в окно; видела раз пять. Четырьмя она была недовольна: она видела его только проезжавшего от крыльца, — крыльцо, по-старинному, было обращено на двор; ворота, к счастью, были не близко от крыльца, но все-таки, — о, как мало секунд! — один миг! — продолжалось блаженство Машеньки, потому что, к несчастью, лошади у Чекмарева не были похожи характером на почтенных, солидных лошадей Каталенских и нашу. И двор был так широк! — видеть его только миг, и то через этот широкий двор! — довольно ли этого для пламенного сердца? — Но один раз она была так же счастлива, как в то утро, когда воспылала ее страсть: Чекмарев опять целое утро ходил и скакал по двору, осматривая и объезжая лошадей; опять он много раз проезжал мимо самого, самого окна! — жаль было только, что он скакал очень быстро и был слишком занят своею лошадыю: иначе, он взглянул бы в окно! — и увидел бы Машеньку, «право, душенька, увидел бы!» — Она очень печалилась, что этого не случилось. Но зато, она сколько раз так близко могла видеть его. Теперь он показался ей еще лучше, красивее, изящнее, нежели в первый раз.

Прошла неделя, и Машенька вбежала ко мне вся сияющая, обняла меня, вся трепещущая: она видела Чекмарева! — не так, ду-

шенька, не в окно, а он вошел, они сидели, она на стуле, он на другом, подле, душенька! — и она целый час говорила с ним, и он влюблен в нее! — он сам говорил ей, что влюблен в нее! — конечно, душенька, он не говорил этого так, этими самыми словами, что «я люблю тебя, Мари», потому что как же можно? — особенно при тетеньке. — Но он до безумия влюблен в нее, она убеждена в том, и он даже говорил это, и говорил, душенька, так хорошо! — и она по десяти раз пересказывала мне каждое его слово, — и даже написал стихи ей: она попросила, он подумал всего только пять минут, душенька, и написал; — как жаль, что у тетеньки не было почтовой бумаги, потому что эти стихи надобно было написать на самой хорошей бумаге! — а эта серая! — Четыре стиха, которые она показала мне, действительно были написаны на серой бумаге, как она и говорила. В них ее очи сравнивались с яркими светилами ночи, щеки с розами, а сама она была в них названа Мери и сравнена с Пери. Как следует, Машенька целовала этот листок. — Ей непременно было надобно, чтобы стихи очень понравились и мне, и чтобы я уверилась, что он очень милый, такой милый, душенька, что ты не можешь вообразить! И если бы ты видела, душенька, как ловко поклонился он, когда вошел! Я никогда не видела такого ловкого!»

— Машенька, все это прекрасно, — сказала я. — Верю, что он и красавец, и ловок, и говорит умно, и мил. Но не забывай, друг мой, что он богат, а мы с тобою не очень богаты.

— Ну, Лиза, ты вечно такая! несносная, резонерка! — сказала Машенька, готовясь заплакать. — А ты сама только двумя годами старше меня. А тетеньке пятьдесят лет; она старше тебя.

— Твоя тетенька дурно делает, Машенька.

Мы долго спорили с Машенькою. Разумеется, она не верила мне, сердилась, плакала; и разумеется, измучила меня поцелуями, когда я, чтобы утешить ее, сказала, что отрекаюсь от своих слов. Так жаль было огорчать ее.

Я не могла придумать, что мне делать, чтобы защитить мою милую Машеньку. Теперь, я была встревожена не на шутку. Чекмарев будет говорить ей любезности, писать стихи; она будет принимать этот вздор серьезно и в самом деле привяжется к Чекмареву. Я возмущалась безрассудством Дарьи Ильиничны. Поговорить с нею? — она только посоветует Машеньке скрывать от меня все; это будет еще хуже для Машеньки. Гораздо вернее было бы сказать Анне Ларионовне. Я советовала Машеньке сделать это. Она не согласилась, умоляла и меня молчать: «маменька скажет мне, чтоб я не бывала у тетеньки, и поссорится с нею». Бедная Машенька. Могу ли я молчать? — Я не дала ей слова, что не буду говорить с Анной Ларионовною. — Но неужели я буду изменницею Машеньке?

На другой или третий день Машенька опять была у тетки и прямо от нее вбежала ко мне радостная.

— Милочка моя, Лиза! — я все сказала тетеньке, как ты бранишь и ее, и меня. Она вовсе не рассердилась на тебя, а сказала, что ты ничего не понимаешь; ты не сердись на нее, душенька Лиза: это она сказала правду, я уверена. Она говорит, что если бы тебе увидеться с нею, она все растолковала бы тебе. Она зовет тебя к себе. Поедем, пожалуйста. Тогда ты и не будешь огорчаться за меня.

Дарья Ильинична и прежде не нравилась мне. В последние два, три года я почти вовсе не бывала у нее. Но теперь я была рада. Она не была злая, и ее называли очень умною. — «Хорошо, поеду к ней. Может быть, и успею уговорить ее, чтоб она пожалела тебя».

— Поедем завтра же, душенька Лиза: ты увидишь, как ты ошибалась.

— Поеду завтра же; но одна, без тебя. Я буду спорить с нею. Тебе незачем видеть какая я сердитая.

Но мне не удалось быть сердитою. Дарья Ильинична встретила меня очень приветливо, дала высказать все мои опасения и в самых мягких, спокойных словах отвечала, что я совершенно ошибаюсь.

-- Ваша правда, Лизавета Арсеньевна, если бы говорить вообще. Как можно, чтоб я стала оспаривать такие справедливые мысли? Богатый молодой человек говорит пустые комплименты девушке; она верит; а у него и в мыслях нет никаких основательных намерений; и из этого не выходит для нее ничего, кроме огорчений, или даже, чего боже сохрани, бывает вечное несчастье. Но здесь, я надеюсь, будет совершенно другое. Позвольте мне быть откровенной с вами, Лизавета Арсеньевна. У моего брата, у Анны Ларионовны, а через нее и у вашей маменьки, нет доверия ко мне. Поэтому, и вы, естественным образом, предубеждены против меня. Но спрошу саму вас: можете ли вы сказать, что я дурная женщина? Говорит ли это про меня Анна Ларионовна?

Каталонская и маменька находили только, что она имеет слишком предприимчивый характер и требует от них оборотливости, на какую они не способны. Не они прорицали ее: она постоянно бранила их за то, что они не вступаются в служебные отношения своих мужей.

— Дарья Ильинична, никто не может сказать о вас ничего дурного. Анна Ларионовна и маменька понимают, что вы желаете добра им. Они говорят только, что у них нет вашей предприимчивости, и отдают справедливость вашему уму.

— Уму! — со вздохом сказала она. — Поневоле станешь умна при моей судьбе. У них нет моей предприимчивости! — Хорошо им не думать ни о чем, имея кусок хлеба от мужей. А вы знаете, как он сокол был мой.

Она стала рассказывать мне о своем муже, пьянице, как он пропадал по трактирам, как привозили его избитого, обобранного; как он бил ее; как отнимал у нее все, до последнего салопа, до

башмаков, чтобы все пропивать; как сама его мать одобрила ее бросить его и итти в экономки к вице-губернаторше; как она двадцать лет скиталась экономкою по разным богатым барыням, сколько неприятности терпела от их надменности, капризности, глупости, сколько обид от их прислуги, которой мешала воровать. В самом деле, какой ум, какая сила характера нужны были ей, чтобы лавировать в этих мудреных отношениях! Со сколькими людьми имела она дело, как научилась понимать людей! — В общих чертах я давно знала ее историю. Но она рассказывала с живыми подробностями, с одушевлением; я заслушалась, увлеклась. — Потом она стала говорить, что Анна Ларионовна и моя мать не имеют ее опытности, ее умения обращаться с людьми; могла ли я спорить против этого? — что если бы они умели слушаться ее, их мужья не сидели бы столоначальниками: — «Они добрые люди, ваш папенька и мой брат, — говорила она, — но они не могут ничего сделать для себя». — Я чувствовала, что она говорит правду.

— Не почтите за обиду им и вашей маменьке с Анной Ларионовною, что я высказываю это, говорила она: — Вы, Лизавета Арсеньевна, можете чувствовать сама, что я говорю это от расположения к ним; а больше всего, от жалости за племянниц; и — вы извините мои откровенные слова — также и за вас, Лизавета Арсеньевна. Скажите сама: не прискорбно ли смотреть на племянниц? — некому-то позаботиться о их будущности! Скажите сама, не злодейка ли была бы я, если бы не старалась сделать в пользу Машеньки то, что могу? — Конечно, это была бы обязанность матери; но что же делать, когда Анна Ларионовна не умеет позаботиться и о муже, что гораздо легче? — Рассудите также сама, Лизавета Арсеньевна, способна ли я к чему-нибудь дурному: двадцать лет я жила экономкою, пока нашла себе покойный уголок здесь. Всегда жила в богатых домах. Нажила ли я что-нибудь в эти двадцать лет? — Это должно быть известно вашей маменьке и Анне Ларионовне, могла ли б я приобрести деньги, если бы захотела пользоваться чужою копейкою. Им должно быть известно, сколько я накопила денег в двадцать лет.

Все это была правда: она могла нажать тысячи; у нее не было ничего, кроме двухсот рублей, да и те она отложила понемножку в последние восемь или девять лет, когда жила у Чекмаревой и получала пенсию.

— Стало быть, я не такая жадная к деньгам, чтобы забывать для них честь и совесть, — говорила она, — но знаю цену им, как должны знать и вы, Лизавета Арсеньевна, хоть вы еще молоды. Не скрою от вас: желаю богатства Машеньке. Не скрою и того, почему была так откровенна с вами: я опасаюсь, что вы откроете все Анне Ларионовне. При вашей недоверчивости ко мне...

При моей недоверчивости к ней! — она так прямо и полно говорила правду, — правду, в которой я сама боялась признаваться

себе, но которую давно понимала. — «Ваша маменька и Анна Ларионовна — прекрасные женщины, — говорила она, — но они робки и просты, как малые дети...» Мне самой давно думалось это. Мне казалось, что она одна из всех нас знает жизнь: наши старшие, как и я, знают только свой семейный уголок.

— При вашей недоверчивости ко мне, — говорила она, — могу ли я требовать, чтобы вы молчали по моим только словам? Не могу, Лизавета Арсеньевна. Но вот о чем я прошу вас: чтобы вы посмотрели сами и убедились. Приезжайте ко мне вместе с Машенькой послезавтра поутру, когда у меня будет Николай Евграфович. Посмотрите на него сама, правду ли я говорю, что надеюсь выдать Машеньку за этого человека: взгляните, тогда судите сама и поступайте, как вам будет угодно.

Просьба была умеренна, разумна. Как буду я вступаться в отношения, если не хочу ближе узнать их? — Она требует только того, чтобы я сама посмотрела, как следует поступить. Она лучше всех нас понимает жизнь; что, если я хочу расстраивать счастье Машеньки? — Старуха заговорила меня, подорвала все причины моего прежнего недоверия к ней; я поддалась ее изворотливому уму. — «Извольте, Дарья Ильинична, я приеду», — сказала я.

Но едва произнесла это, одумалась. Нет, не может быть права женщина, которая хочет вести сватовство дочери тайком от матери! — Я покраснела. Мне совестно отступить от вырвавшегося слова. Но я превозмогла ложный стыд.

— Нет, я не имела права соглашаться, Дарья Ильинична, сказала я: — простите меня: я не приеду. Умоляю вас, выведите меня из затруднения. Как же устранить Анну Ларионовну? Как становиться между матерью и дочерью?

Вспоминая этот случай, вспоминая всю мою жизнь, я спрашиваю себя: когда же, в чем же хотела я быть отступницею от патриархальных правил моего воспитания? Положа руку на сердце, говорю: я всегда хотела быть верна им...

— Разве я думаю устранить Анну Ларионовну? — сказала Дарья Ильинична: — Но было бы напрасно говорить с нею, пока еще нечего говорить. Вмешать ее теперь, значит расстроить все. Судите сама: он виделся с Машенькою только два раза; когда же было утвердиться в нем расположению к ней? Надобно дать окрепнуть этому. А то, вдруг приступить с ножом к горлу: «сватай»; — что же другое значило бы вмешивать мать?

Еще так недавно, я сама думала о том, что лучше б, если бы молодые люди не нашего круга могли видеть меня просто как родственницу своих знакомых, когда вовсе не думают о невестах и сватовстве: быть может я понравилась бы кому-нибудь из них, и он понравился бы мне. Теперь, это счастье достается Машеньке, — и я буду расстраивать его! — Еще так недавно, я думала о том, что дурен, вреден обычай нашего круга смотреть на молодого человека, как на жениха, едва он заговорит с девуш-

кою: — неужели я сделаю, чтобы тотчас же явилась мать и чтоб ее вид говорил: «милостивый государь, извольте-ка сватать мою дочь, которую видели два раза; по-нашему знакомиться нечего, а прямо объявляй себя женихом». Во мне происходила сильная борьба. Но привязанность к принципам нашей доброй, скромной жизни победила. Дарья Ильинична хотела хитрить; я была приучена отвращаться хитрости. Старуха хотела заманивать жениха; мне внушено было считать это делом дурным, из которого не может выйти счастливого супружества для девушки с хорошим сердцем. «Не нам и не нашим дочерям поступать бесчестно», — говорили матушка и Анна Ларионовна о закидывании сетей женихам. Пусть матушка и Анна Ларионовна слишком просты; пусть они похожи на малых детей, как говорит Дарья Ильинична. Но Машенька воспитана такую же. Она не будет счастлива в замужестве, если жених пойман хитростью. Она простодушна и честна. Не ей жить обманом. — Я твердо повторила, что не приеду.

— Подумайте, Лизавета Арсеньевна, — убеждала и умоляла старуха. — Вы ставите большое затруднение счастьем Машеньки. Ваша Анна Ларионовна — ох! — ей ли обращаться с людьми, которые живут в свете? Она все погубит, посмотрите на него сама, прошу вас ради счастья Машеньки, ради счастья всего их семейства.

Но я осталась тверда: «не приеду и не приеду». Дарья Ильинична заплакала. — У меня было одно: «не приеду и не приеду».

— Нечего делать с вами, Лизавета Арсеньевна, — сказала она наконец. — Но богу известно, какой вред может произойти от вашего упрямства. Когда приедете домой, скажите Машеньке, чтоб она рассказала матери. Бог вам судья, Лизавета Арсеньевна: отнимаете вы счастье у Машеньки.

— Благодарю вас, Дарья Ильинична; вы избавили меня от ужасного колебания. Я не знала, на что мне решиться.

— Какое не знали! — отвечала она, утирая слезы. — Я вижу, вы сказали бы Анне Ларионовне. — Бог вам судья.

Не только тогда, и теперь, я не умею определить, сказала бы я сама Анне Ларионовне, если бы не добилась того, что Дарья Ильинична перестала удерживать Машеньку от откровенности перед матерью. Сделаться доносицею матери на дочь, рисковать лишить дочь доверия матери — я понимала, как это страшно. Но вероятно, Дарья Ильинична не ошибалась. Во мне была сильна привязанность к принципам нашей скромной жизни.

Машенька предсказывала, как поступит ее мать. Анна Ларионовна решила, что Машеньке не следует бывать у тетки, пока Чекмарев остается в нашем городе.

С кроткою печалью Машенька жаловалась мне на меня саму. Она похудела и побледнела. При всей моей твердости в наших

старосветских правилах, я почти раскаивалась в моем упрямстве и плакала вместе с Машенькой.

И вот, я увидела, что не только почти совершенно должна раскаиваться, что не послушалась Дарьи Ильиничны, напрасно сделала столько горя моей милой Машеньке: Чекмарев приехал к Каталонским. Он любит Машеньку! Зачем я внесла столько дней печали в ее любовь? — Эти мои слезы были очень горьки. Еще горьче стали они, когда Чекмарев уехал от Каталонских, и бедная Машенька пришла рассказать мне, что сделала Анна Ларионовна и как приняла Чекмарева.

Анна Ларионовна, увидев богатый экипаж, догадалась, что это Чекмарев. Она велела Машеньке уйти из гостиной. Он уехал, не увидев Машеньку. Анна Ларионовна была холодна, суха с ним. Это было слишком. Я не удержалась, пошла к Анне Ларионовне; стала упрекать ее.

— Вы напрасно недовольны мною, Лиза, — сказала она. — Не рассыпаться же мне было перед человеком, которого я вижу в первый раз. Посмотрим; если он будет нравиться мне, тогда и я буду любезна с ним. Почему ж он так долго не собрался приехать к нам, если это знакомство приятно ему? — он долго раздумывал; и мы подумаем.

Мне было страшно досадно на себя. Мне было ужасно жаль Машеньку. Мучительно прошел для меня этот день, — и следующий, почти до самого вечера. Но к вечеру, Чекмарев сам потрудился утешить меня.

Машенька пришла ко мне, взволнованная еще больше, нежели была вчера. Чекмарев прислал ей письмо. Теперь, она уже не могла бояться, что я стану грозить ей выдать ее тайну Анне Ларионовне, если не скажет она сама: я так много и долго горевала о том, что принудила ее тогда. Она показала мне письмо. Чекмарев жаловался на то, что Анна Ларионовна вчера была холодна с ним, описывал свою любовь, свои страдания. Письмо было облито слезами бедной Машеньки. На меня оно произвело противоположное впечатление: я перестала плакать. Если он сколько-нибудь любит Машеньку, то разве он не понимает, что нельзя же, в самом деле, Анне Ларионовне вешаться ему на шею, пока она не увидит, хороший ли он человек. — Мне стало стыдно за мои сомнения в благоразумии наших скромных, простых правил жизни: только они пригодны для нас, только они ограждают нас от горьких ошибок, вернее всякой ловкости, всякой проницательности. Теперь, ясно было, что Дарья Ильинична ошибалась, и ввела бы племянницу в стыд и горе поважнее полуребяческих слез.

Я стала доказывать Машеньке, что Чекмарев несколько не любит ее, хотел только насмеяться над нею. Она плакала, не могла оспорить, не могла и согласиться. Я умоляла ее не отвечать ему по крайней мере до завтра. На завтра, она была почти

больна, бедная. Но она была умная девушка. Она уже соглашалась, что унизилась бы, если б отвечала ему. — Потом, он прислал ей еще письмо. Она не взяла его от своей кухарки и погрозила, что скажет матери, если кухарка будет принимать на себя такие поручения.

Наконец, Чекмарев сделал то, что сама Дарья Ильинична переменила тон. Он предложил ей деньги, чтоб она, как-нибудь обманув Анну Ларионовну, устроила ему свидание с Машенькою. Старуха пустила в него чашкою с горячим чаем.

Это совершенно излечило Машеньку. Она поплакала еще несколько времени, но уже только с досады на себя за то, что увлеклась таким жалким человеком; скоро вовсе перестала думать о нем и сделалась весела попрежнему. Но приобрела больше серьезности. — «Прежде я удивлялась тебе, Лиза, — говорила она. — А теперь вижу, что влюбляться — очень глупая ветренность, которая вовсе нейдет к нашей жизни. Небогатые девушки, как мы, должны быть рассудительны». — И в самом деле, она перестала быть ребенком.

Мой добрый, несчастный друг Лачинов говорил правду: порядочные молодые люди из нашего состояния уходят от нас в другое общество, где нет нас... но бывают исключения. Одной из сотни таких девушек, как я, встречается порядочный молодой человек, случайно являющийся в нашем кругу.

Вскоре после того, как Машенька разочаровалась в Чекмареве, племянник мужа Устиньи Максимовны Симоновой получил должность помощника управляющего удельною конторою в нашем городе. Его кузины, мои приятельницы, обе уже были замужем. Поэтому, для него нашлась комната в доме дяди. На первый раз он был очень рад готовому приюту. Иван Николаич был жених не по размеру наших приданых. Но Машенька понравилась ему. Не нужно было особенной проницательности, чтобы видеть это. Но я молчала Машеньке; молчали ей и кузины Ивана Николаича; кто же знает, захочет ли он забыть, что может найти себе невесту и с большим приданым, и с важными связями? — мы не знали и того, вообще расположен ли он жениться: люди, которые могут сделать хорошую карьеру, считают невыгодным жениться в молодых годах. Однакоже, надежда, которой не смели мы верить, исполнилась. Прошло, я думаю, не больше месяца после приезда Ивана Николаича в наш город, как Машенька сказала мне:

— Лиза, я почти дала слово Симонову, и я боюсь, что ты осудишь меня. Пожалуйста, не осуждай, душенька.

— Осуждать за то, что ты дала слово Симонову! Бог с тобой, Машенька! С первого раза, как я увидела его, я пожелала тебе этого счастья, моя милая Машенька!

Действительно, я была в восторге за нее.

— Я в самом деле вижу, что ты довольна, — сказала она,

когда я перестала душить ее: — А я право боялась, что ты осудишь меня. Знаешь, за что? — Вот за что: я не влюблена в него, а иду. И он такой прозаический, Лиза; в него нельзя влюбиться.

Я расхохоталась. — Когда ты проживешь еще год, Машенька, слово «влюбляться» будет смешно для тебя. Вспомни, как умно рассуждала ты сама, что эти глупости нейдут к нашей жизни.

Я принялась не на шутку бранить ее и бранила больше, чем она стоила. Забавная выходка о влюбленности была последнею ее данью ребяческой ветрености.

На другое утро, Симонов приехал к Анне Ларионовне просить руки Машеньки. Невозможно описать радость Анны Ларионовны, Василия Ильича, даже моих старших.

Все было прозаично в этом сватовстве; даже и та причина, по которой свадьба была отложена довольно надолго. Симонову хотелось, чтобы квартира, которую нанял он, была хорошо отделана и меблирована. Оклеить стены порядочными обоями, — тогда еще довольно большая редкость в нашем городе, — сделать драпри, хорошие ручки в дверях — это можно бы кончить в одну минуту. Но меблировка — это была длинная история. В нашем городе, хоть и очень большом, не было тогда магазинов готовой мебели, и если вы хотели иметь порядочную, надо было заказывать ее и ждать много времени.

У меня радовалось сердце на Машеньку и ее жениха. Симонов был совершенно порядочный человек, добрый, рассудительный. Он занимал прекрасную должность. Все обещало моей милой Машеньке беззаботную, прекрасную жизнь в довольстве, даже изобилии, без всяких неприятностей. У Симонова была тихая, но глубокая любовь к ней. Машенька, добрая и умная, привязалась к нему самую нежную дружбою. Когда я стыдила ее накануне помолвки за ее соображение о важном недостатке, что она не влюблена, она совершенно справедливо говорила, что я слишком придираюсь к необдуманному слову. Если тогда она еще не понимала, то очень скоро поняла пустоту его, когда увидела заботливость жениха о ее счастье и когда признательность за ее любовь пробудила в ней самой чувство, посерьезнее романтической экзальтации. Нельзя было не полюбить этого истинно доброго человека. В его и ее симпатии не было одурения, которое очень поэтично, и столько же глупо, но было то, что гораздо лучше: спокойное, рассудительное и сильное расположение друг к другу.

Отделка квартиры была давно кончена, заказанная мебель почти готова. Можно было назначить день свадьбы. Назначили его. Он пришел. В восемь часов вечера, мы должны были отправиться в церковь.

Утро маменька, я, сестра провели у Каталонских, помогая хлопотам о нарядах невесты. Потом надобно было нам позаботиться и о своем туалете, — моем и Сашиним: Саша была уж не

маленькая: ей почти исполнилось пятнадцать лет, она тоже должна была провожать невесту. После обеда я осталась дома закончить свои занятия собою и сестрою; часов в шесть я обещалась прийти опять к Каталонским, помогать одевать невесту к венцу.

Я причесывала голову Саше. Маменька смотрела и делала свои замечания о наших уборах, — я думаю; что это было в конце пятого часа; — вбежала служанка Каталонских и торопливо, тревожно сказала: — «Марьи Васильевны нет у вас? Господи, я так того и ждала, что нет!» — Она всплеснула руками. — «Что такое? — спросили мы, перепуганные ее отчаянной жестикуляцией, да и странными словами. — Господи! У нас бог знает что делается! Марьи Васильевны нет! Татьяна Ивановна, пожалуйста! — Лизавета Арсеньевна, матушка, барышня, бегите к нам!» — она опять всплеснула руками и убежала.

Я побежала вслед за нею. — У Каталонских было невообразимое смятение. Василий Ильич, сам наполовину потеряв рассудок, уговаривал детей молчать, совал им пряники и варенье, рвал на себе волосы, то пускался в перебранку с Дарьей Ильиничною. Анна Ларионовна лежала в истерическом припадке и кричала: «Машенька, где ты? Отдайте мне мою дочь!»

Так отозвалась забытая было всеми нами влюбленность Машеньки к Чекмареву. Вот как произошло это.

В нашем городе не было тогда и наемных карет, как не было мебельных магазинов. Для свадебных поездов, небогатые люди брали экипажи у губернских аристократов.

Жена камердинера управляющего удельною конторою пришла в гости к экономке старухи Чекмаревой и в числе других новостей выразила ожидание, что их лакеи и кучер наверное будут пьяны, потому что барин дал карету на нынешний вечер своему помощнику Симонову, который женится. — «Надо идти смотреть свадьбу, — сказала экономка, — когда, где будет?» — «У Сергия, в восьмом часу», — сказала гостя. — «А на ком женится, не знаете?» — «На дочери нашего чиновника Каталонского», — «Каталонского! значит на племяннице этой нашей ведьмы, на которую я столько раз жаловалась вам! А невеста-то водила куры-муры с нашим молодым барином! — Вот одолжили, что сказали! Можно удружить этой ведьме Дарье!» — «И удружите, — одобрила гостя. — Вы хотите сказать жениху?» — «Да как же? Пойду, скажу». — «Так и сделайте, непременно подите, скажите», — одобрила гостя.

Пелагея Ивановна, служанка Симоновой, сидела на крыльце, присматривая за играющими по двору маленькими братьями и сестрою моих подруг. Пришла незнакомая ей женщина, спросила тут ли живет Иван Николаевич Симонов, помощник управляющего удельною конторою, и у себя ли он, прошла в дом, пробыла там довольно долго, вышла с довольным лицом, остановилась на

крыльце и рассказала Пелагее Ивановне кто она и зачем пришла. — «Вот как отплатила я проклятой Дарье, которая сует нос не в свои дела, — прибавила она. — Теперь свадьба расстроится: твоя барыня сейчас же поедет к невесте, прочитает ей, кто она такая». — Пелагея Ивановна была добрая женщина, любила Машеньку и тотчас же побежала предупредить ее. — «Что тебе, Пелагея Ивановна?» — спросила Анна Ларионовна. — «Я прислана от Устиньи Максимовны к Марье Васильевне», — сказала Пелагея Ивановна. — «Что же такое?» — спросила Машенька. — «Просьба, которую надо сказать только вам одним, барышня», — сказала Пелагея Ивановна и улыбнулась, чтобы отвести всякое подозрение. — «Пойдем в мою комнату», — сказала Машенька.

Оставшись наедине с нею, Пелагея Ивановна рассказала что слышала от экономки Чекмаревой. — «Не огорчайтесь, Марья Васильевна, и не разгневайтесь на меня, будто бы я верю этому: и как это можно, чтоб это была правда! Она им наплела, будто у вас была любовь со внуком ее барыни, и будто вы ездили на свиданья с ним, и будто его камердинер, Егор, носил вам записочки и отдавал вашей кухарке Лукерье, и если не верят ей, то пусть спросят всю их дворню: вся знает это. И можно ли верить этому? Но если б у вас и было с ним что-нибудь такое, вы, барышня, прямо скажите Устинье Максимовне, что знать не знаю, что вам бояться? — Егор-то уехал со своим барином, а ваша-то Лукерья не выдаст вас; какие улики? — знать не знаю, да и все тут. Не бойтесь, барышня, ничего».

— Пелагея Ивановна, я, может быть, не расслышала: Иван Николаевич был дома? — спросила Машенька.

— Все время дома: когда она пришла, дома; и остался дома, когда я побежала к вам.

— Хорошо, благодарю тебя, Пелагея Ивановна, — сказала Машенька.

— Как же вы скажете-то ей? — Как я говорила вам: знать не знаю, да и все тут? — А про меня не сказывайте ей, что я предупредила вас.

— Зачем же? — я не скажу про тебя, будь покойна.

— Зачем Устинья Максимовна присылала к тебе Пелагеею Ивановну? — спросила Анна Ларионовна.

Машенька отвечала, что Устинья Максимовна присылала сказать ей, что приедет поговорить о чем-то.

— Вероятно, взглянуть на платье, и на все, как ты будешь одета, хорошо ли, — заметила Анна Ларионовна. — Давай-ка поскорее дошивать оборку, — обратилась она к младшей дочери.

Машенька беспрестанно подходила к окнам на улице. Некому было заметить, что она слишком встревожена: все были заняты ее подвенечными нарядами. Да и когда ж невеста бывает спокойна в день свадьбы?

А между тем, жених еще и не знал ничего. Экономка Чек-

Маревой, разумеется, не нашла в передней никого, чтобы доложить о ней, и пошла заглядывать из комнаты в комнату. Прошла детскую — никого; отворила следующую дверь; — это была спальная. Устинья Максимовна сидела перед зеркалом, примеривая чепец.

— «Кого надобно вам», — спросила она, увидев незнакомую женщину. — «Ивана Николаевича Симонова, жениха», — сказала экономка. — «А вы, сударыня, не будете ли его тетушка, хозяйка дома? Я могу переговорить и с вами о деле, по которому пришла». — Она рада была случаю: родственницы женихов лучше самих женихов, чтобы наделать шума.

Но Устинья Максимовна уверяла потом, что не хотела подымать скандала, и что не очень поверила рассказу экономки: «Мне тотчас же подумалось тогда, не чернит ли эта женщина Машеньку по злему расчету», — говорила она впоследствии нашим и мне. Она прекрасно доказывала, что и не могла не подумать этого. «Как же? — говорила она. — Разве я не знаю, как нередко бывает, что недоброжелательные люди стараются расстроить свадьбу сплетнями родственникам на жениха, или на невесту? А в этом случае не должна ли я была тем больше предположить, что все это говорится по злобе, когда экономка сама проговорила, что мстит Дарье Ильиничне. Потому, я и не сказала ничего племяннику, прежде хотела удостовериться сама, что это неправда».

— Может быть, и совершенно так. Но Пелагея Ивановна говорила, что экономка Чекмаревой, вышедши от ее барыни, была совершенно уверена, что свадьба расстроится, и по всем словам экономки, Пелагея Ивановна видела, что Устинья Максимовна совершенно поверила всему. Это слишком похоже на то, что чаще всего случается с людьми нашего круга в затруднительных обстоятельствах: привыкнув к тихому, рассудительному образу жизни, они теряют голову, когда случится что-нибудь особенное.

Как бы то ни было, но вид Устиньи Максимовны поразил Анну Ларионовну: тетка жениха вошла с волнением, с расстроенным лицом, Анне Ларионовне показалось, с лицом раздраженным, и горячо спросила, даже забыв поздороваться: — «Где ваша дочь?» — Анна Ларионовна удивилась, перепугалась, не зная сама, чего перепугалась. — Где Машенька? — Машеньки уже не было в гостиной, она сейчас стояла у окна, должно быть ушла. — «Да что вы такая расстроенная и страшная, Устинья Максимовна? Или что случилось?» спрашивала она, торопливо идя за Симоновой, которая шла через гостиную в комнату Машеньки, не остановившись с нею: — Что такое? Машенька сейчас была здесь; что такое? — «А! верно догадалась зачем я еду! увидела, что еду, и догадалась!» — говорила Устинья Максимовна, вне себя от волнения. — Она отворила дверь комнаты Машеньки: Машеньки не было и тут. — «Спряталась! Я найду ее, не спрячется!» — кри-

чала Устинья Максимовна: теперь она уже не сомневалась в истине всего рассказанного экономкою.

Прибежала Дарья Ильинична, началась шумная сцена. — «Как вы смели раскричаться в чужом доме?» — кричала Дарья Ильинична. — «Хороши вы с вашей племянницей!» — кричала Устинья Максимовна.

Когда я прибежала, Устинья Максимовна уже уехала, и все семейство, как я сказала, было в смятении. Машенька исчезла. Свадьба расстроилась. Но где Машенька, где Машенька?

— Где моя дочь? — отдайте мою дочь! — стонала Анна Ларионовна.

Что могли мы с матушкой сказать в ее успокоение? — Мы могли только послать моего отца, послать Василия Ильича, послать всю прислугу искать Машеньку. — Я через несколько времени опомнилась настолько, что вздумала пойти говорить с женихом. Обои лошадей не было: отец и Василий Ильич уехали на них. Я думаю, что народ смотрел на меня: я бежала по улицам.

Как я говорила с Устиньей Максимовною, я почти не помню; почти не помню и того, что говорил мне Иван Николаевич. Но он был истинно порядочный человек; потом, я помню, он стал упрекать Устинью Максимовну, она рассердилась и на него. Мы с ним поехали к нам.

Машеньки все еще не было. Иван Николаевич тоже поехал искать ее.

Весь вечер мы провели в невыразимой тревоге. Машеньки не было нигде. У всех была мысль: не бросилась ли она в Волгу? Ее видели торопливо идущую вниз по нашему проулку к берегу. Потом нашли людей, которые видели ее идущею по берегу. Половину ночи мы провели в отчаянии.

Был уже второй или третий час ночи, когда мы получили известие о ней. Мне принес письмо немец из Баронского, — это пристань, в 60 верстах вверх по Волге от нашего города. Добрый колонист исполнил просьбу Машеньки тотчас же идти ко мне, хоть будет глубокая ночь, когда пароход привезет его в наш город.

Машенька вышла из дома, не помня куда идет. Когда опомнилась, увидела себя на берегу Волги. Затем ли шла она к реке, чтобы броситься в воду, она сама не знает. Но теперь, ей пришло в голову, что надобно искать убежища в женском монастыре, который стоит на берегу. Она пошла по направлению к нему. Вдруг, раздался свисток парохода, она побежала на него и вошла в каюту. У ней была одна мысль: скрыться от родных. Когда пароход отплыл далеко от берега, она сказала капитану, что у нее нет билета, нет денег, нет ничего: она села на пароход как была в комнате. — «Куда ж вы едете?» — «Я сама не знаю куда». — «Зачем?» — «Сама не знаю, зачем; но я продам свою мантилью и отдам вам деньги, только дайте мне уехать подальше». —

И капитан, и пассажиры стали с участием расспрашивать ее. Она должна была сказать свое имя. Нашлись люди, слышавшие, что дочь чиновника Каталонского выходит за Симонова, помощника управляющего удельною конторою. Она должна была признаться, что она ушла от родных, жениха. Тогда пассажиры и капитан стали советоваться, что можно сделать для нее. Куда она уедет от родных, где найдет приют? Есть ли у нее знакомые в Вольске, Хвалынске, Самаре, Казани? — Только теперь, она услышала, что пароход идет вверх по Волге. — В Казани, у нее есть брат, студент. — Пассажиры заставили ее написать это письмо, чтобы отправить его для успокоения ее родных, с первой пристани, с первым пароходом, который пойдет вниз. — «Они все уговаривали меня возвратиться; но убедились, что я не слушаюсь, — писала она, — и как я возвратилась бы к ним? Зачем? Я знаю, мне были бы невыносимы их подозрения, упреки; пусть они и не стали бы упрекать вслух, все равно, я знаю, как унижена я в их глазах. Перед ними не оправдаешься. И какой стыд перед всем городом. Как могла бы я оставаться в нашем обществе? — Брат не будет вздыхать и коситься. Он не такой, как отец и маменька».

Я не могла показать Анне Ларионовне и отцу Машеньки письма с такими словами против них... Эти жестокие мысли были и несправедливы: Анна Ларионовна не стала бы мучить дочь; Машенька сама должна почувствовать это, когда первое волнение ее пройдет... Но в сущности, ее решение не было неправильно при той уверенности, какую она имела, что тетка жениха приехала расспрашивать и упрекать по поручению жениха, что свадьба расстроилась. Ее жизнь в семействе надолго стала бы слишком горька. Наш круг добр и хорош; но...

Я не могла показать письма Анне Ларионовне; успокоила ее хоть тем, что Машенька жива и поехала к брату; между тем, велела заложить нашу лошадь тотчас же ехать к Симонову. — «Как можно, Лиза? В третьем часу! — Пусть едет твой отец; если уж не хочешь отложить до утра», — останавливали меня. — «Нет, — сказала я, — он встревожен не меньше вас и не сердится только на одну меня».

Действительно, он не спал, хоть был утомлен разъездами по всему городу до поздней ночи. Трудно представить себе, как он обрадовался. — «Завтра же беру отпуск и еду в Казань», — сказал он.

Когда мы с ним стали говорить более спокойно, я высказала ему то, что особенно мучило меня теперь: я считала себя виноватою в этом шуме. Зачем я не посоветовала Машеньке, чтоб она показала матери письма Чекмарева в то же время, как получила их? Если б это было сделано, Анна Ларионовна не была бы поражена приездом и словами Устиньи Максимовны, не дала бы ей кричать, не отвечала бы ей только стонами: «Ах, что наделала

моя дочь! Ах, какой стыд!» — Машенька увидела бы, что мать защищает ее и не убежала бы...

— Понятно, Лизавета Арсеньевна, — с раздражением сказал Симонов. — Вы сами понимаете, что с этими людьми невозможно говорить, невозможно иметь дела. Вы думаете, ваша Анна Ларионовна не подняла бы шума, если бы Машенька показала ей письмо Чекмарева. Поняла бы, что нельзя ахать и плакать. Она сделала бы скандал, Машенька была бы тогда же обесславлена на весь город материнским усердием к защите ее репутации. С этими людьми нельзя иметь никакого дела, кроме как по хозяйству: в этом они хороши.

Он был раздражен; он был несправедлив; но в его словах была та часть правды, что мне самой казалось так тогда, во время получения писем от Чекмарева; потому я и требовала, чтобы Машенька не говорила с Анною Ларионовною об этих письмах.

На другой день, Симонов уехал в Казань. Через две недели, Каталонские получили короткое письмо от дочери, я длинное письмо от Симонова и еще более длинную приписку от Машеньки. Они повенчались, но решили не возвращаться в наш город. — Симонов писал мне, что Машенька никак не согласилась бы возвратиться и если бы даже она была готова на это, он сам отговорил бы ее. — «Ваше прекрасное общество слишком глупо», — писал он. Это были слова раздражения, слова не вполне справедливые. Но я должна была признаться, что мысль Машеньки и его — не жить в нашем городе совершенно основательна. — Он писал, что они едут в Петербург; он будет искать себе должности где-нибудь в другой провинции.

Потом, Машенька писала мне из Петербурга сначала довольно часто. Она хвалила мужа; говорила, что она счастлива; — в этом я была бы уверена и без ее слов. Но она жаловалась на петербургскую жизнь, скучную, пасмурную, как петербургский климат. Я предполагала, что Машенька нуждается. Разумеется это было так. Через несколько времени, брат написал мне, что иногда бывает у Симоновых, что Машенька действительно очень счастлива своим мужем, но что они терпят нужду и что это очень мучит Симонова. — «Кто привык пользоваться удобствами и привольем провинциального города», — прибавлял брат, — «тому невыносима петербургская жизнь, скучная, однообразная для людей, которые не имеют огромных средств. То, что составляет преимущество Петербурга над провинциею, например, для меня, не существует для Машеньки и ее мужа. Машенька старается быть веселою и бодрою; но вянет в Петербурге». — Брат говорил, что Симонов постоянно хлопочет получить место в провинции; но порядочные должности достаются не легко и не скоро. — Когда я сама стала жить в Петербурге, я увидела, что он может понравиться только тем из провинциалов, которые честолюбивы, или таким, которые лишь в нем могут иметь дея-

тельность по своему природному влечению, как например, мой брат, или таким, которые по своему исключительному отношению к обществу лишь в Петербурге могут иметь спокойствие и свободу... Всем другим Петербург душен и тесен.

Года через три, Симонов добился должности советника в Курске. Он и Машенька были в восторге; и действительно, они ожили, переехав туда. Машенька призналась мне в письмах из Курска, что тосковала в Петербурге, как в тюрьме, и что даже здоровье ее было расстроено лишениями и скукою.

Я знала это и прежде, как я сказала, через моего брата. — За что пропадают в бедности и скуке лучшие годы ее? — думалось мне, пока она жила в своем долгом петербургском изгнании: — как тяжелы последствия минутного ничтожного забвения о том, что для девушек, подобных нам, только прозаическая рассудительность обеспечивает спокойствие и довольство жизни! Всякое уклонение от старосветских понятий и нравов гибельно для нас.

VII

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ

Сравнивая мою довольную жизнь с лишениями, которым подвергалась Машенька, я не могла не благодарить природу, которая оградила меня от всяких бед холодным благоразумием.

Я была права, считая себя счастливою. После свадьбы Машеньки, мои годы шли без тревог за любимых мною. Старшая из оставшихся сестер Машеньки была годом моложе моей сестры, а Саше было только пятнадцать лет, когда Машенька покинула нас. Я очень любила обеих этих девушек, мою Сашу и Вареньку, почти также мою. Но от них не могло быть никаких огорчений для меня: они еще играли в куклы, — тайком от подруг, разумеется.

Я была спокойна не только за настоящее, — также и за будущность моей сестры. С детства, она и Аркаша Каталонский назывались невестою и женихом. Шутка делалась похожа на правду. Приехавши на каникулы вскоре после отъезда старшей своей сестры, Аркаша стал говорить мне, что Саша красавица и умница, что он серьезно смотрит на нее, как на свою невесту. — «От всей души желаю, чтобы это было так, Аркаша», отвечала я: — «Она очень любит вас». Перед отъездом в Казань, он заговорил, что хочет просить наших, чтоб их обручили. — «К чему это, Аркаша?» возражала я: — «кто думает мешать вашей свадьбе, если у вас сохранятся те же мысли через два года?» — Ему оставалось два года до окончания курса. Он поспорил, но согласился не требовать этой формальности. Уезжая, взял с меня обещание писать ему о Саше и заставлять писать ее. — «Аркаша, вы сам первый станете неисправным корреспондентом».

том», говорила я. — «Нет, Лизавета Арсеньевна, клянусь вам». — Я звала его Аркашею, а он меня — Лизаветою Арсеньевною, хоть я была годом моложе его. Но все обращались со мною так, будто я была пятнадцатью годами старше своих лет.

Мое сомнение осталось напрасно. Аркаша писал ко мне и к Саше очень часто. Я, всегда и во всем аккуратная, отвечала ему охотно и безжалостно усаживала писать Сашу. — «Пустяки, сударыня; все твои отговорки вздор. Если не умеешь правильно написать какое-нибудь слово, спроси у меня. Наконец, разве мне тяжело будет прочесть твое письмо? Я скажу тебе твои ошибки, ты перепишешь, и ему не над чем будет смеяться. — И это пустая отговорка твоей лени, что не о чем писать; скажи, что ты здорова — он и этим будет доволен».

Через год, Аркаша приехал и стал обращаться с моею Сашею совершенно как с невестой: уж не позволял себе хватать ее за руки, а целовал их, и рассуждал со мною о своей свадьбе, будто о деле решенном.

— Как я доволен, Лизавета Арсеньевна, что пошел по филологическому факультету! Учительская должность дает средства жениться тотчас по окончании курса. Не может быть, чтобы не удалось мне поступить в здешнюю гимназию; кандидату нашего факультета открыты целые пять мест: по истории, по географии, по латинскому языку, два по словесности. Правда, две из этих должностей — младших учителей; но я соглашусь и на младшего учителя.

— Этого я не советую, Аркаша. Лучше подождать, если не будет вакансии старшего учителя. Вы знаете, обещают — а потом и забудут, если вы возьмете младшего учителя.

— Нет, возьму и младшего учителя, Лизавета Арсеньевна. Неужели ж из пяти мест не будет в следующем году ни одного вакантного? Будет, хочу, чтобы было, — будет! И тотчас повенчаемся!

— Все это прекрасно, Аркаша, — говорила я: — Только смотрите же. Все зависит от кандидатства. Постарайтесь получить его. По вашим рассказам я вижу, что вы мало занимались в эти три года.

— Ручаюсь вам, Лизавета Арсеньевна: кончу кандидатом. Примусь за эти глупые университетские занятия. Полно бездельничать.

— Вы не совсем бездельничали, Аркаша: я вижу, что вы стали образованным человеком. Я не упрекну вас в лени. Но действительно, пора вам приняться за факультетские занятия, которыми вы неглижировали.

— Даю вам честное слово, что кончу кандидатом.

— Беру с вас его, и уверена, что вы сдержите его.

Перед отъездом, он опять заговорил со мною об обручении и на этот раз же уступил.

— Все-таки, лучше, Лизавета Арсеньевна. Ей теперь шестнадцать лет; по понятиям наших стариков, это уже невеста. Надобно дать их мыслям прочный фундамент, а то, пожалуй, станут надоедать Сашеньке каким-нибудь женихом.

— Напрасно, Аркаша, вы так мало полагаетесь на наших стариков.

— Полагаюсь, Лизавета Арсеньевна; но все-таки, лучше.

— А сам-то вы, Аркаша? Не рано ли вам связывать себя? Вам еще только 22 года; и это бы еще ничего, но я думаю, что у вас в голове иногда ходит ветер.

— Лизавета Арсеньевна, вы судите попрежнему, что рассказывалось обо мне Гришею. Я был повесою. Но переменялся, поверьте; и, клянусь вам, не опасайтесь перемены во мне. Пожалуйста, не противьтесь этому, Лизавета Арсеньевна.

— Что спорить с вами, Аркаша. Вижу, что не послушаетесь.

— Итак, вы будете поддерживать?

— Буду.

При моем ручательстве они устроили обручение.

В этом году, мне уже не было надобности принуждать Сашу писать к нему. Она заставляла меня читать его письма к ней. — «Хорошо, Саша, прочту; но прошу тебя помнить наш уговор, что этим я избавлюсь от скуки читать твои ответы». Она все порывалась убеждать меня своими письмами в своей любви к нему, как убеждала его письмами в его любви к ней.

Расчеты Аркаши были умеренны, поэтому должны были оправдаться. Когда он кончил курс, ему было дано уверение, что они исполнятся. Но, как и обыкновеннее всего, не обошлось без некоторых отсрочек и задержек. Впрочем, я находила, что это тем лучше: оба они были еще так молоды.

Аркаша кончил курс кандидатом, как обещался мне и себе. На просьбу о месте в нашей гимназии, ему отвечали: «Теперь вакансии там нет, вы знаете. Но скоро должна быть: учитель истории этой гимназии получит первое место инспектора, какое откроется в нашем округе. На его вакансию будете назначены вы». — Он мог быть уверен, что слово будет сдержано. Потому, хорошо было и это. Но когда откроется вакансия инспектора где-нибудь и освободит для Аркаши место учителя истории в нашей гимназии? — Как рассчитывать? — может быть, через неделю; — может быть, только через год.

Аркаша приехал к нам; советовался со мною, с нашими. Он говорил, что неблагоприятно было бы ждать, сложа руки. Он отгадал этим и наши мысли. Он стал совершенно основательным человеком. Я радовалась на него. Он поехал к богатому помещику, готовить его сына в университет. Денежные условия были очень хороши. Помещик был так мил и деликатен, что приезжал знакомиться с нами. Он понравился мне: добрый человек, с которым не будет кляуз. Было переговорено и о том случае, если

бы место учителя открылось раньше следующего лета: если так, воспитанник переехал бы жить к Аркаше, то есть в наш дом. Деревня была только в 60 верстах от нашего города. Аркаша мог приезжать к нам почти каждую неделю. Наши воскресенья и праздники оживлялись его веселостью.

Все это было так хорошо...

В этом спокойствии, довольстве, счастья шла моя жизнь с весны 1853 г., весь 1854 год, — продолжала идти в 1855 году.

«Моя жизнь» — а я еще ничего не говорила о ней; я все рассказывала о других: о Машеньке, об Аркаше, о моей сестре. Что стала бы я рассказывать о моей жизни? В ней уже давно не было ничего, о чем могло бы вспоминаться и мне самой. — Но она не была скучна. Меня занимало хозяйство. Я читала. Я училась по-французски; — зачем? — чтобы делать что-нибудь; я не предвидела, что это со временем пригодится мне. — Я виделась с моими знакомыми; видеться с некоторыми из них было приятно мне: не все подружки мои были скучные, а две-три и действительно нравились мне. — Я не чуждалась и развлечений, какие представлялись в нашем небогатом обществе: редкий месяц я не танцевала; иной и не один раз. Я не бывала бы на этих вечерах, если бы не находила удовольствия на них. Для выездов мне надобно было много хлопотать с моими нарядами; я любила быть хорошо одета и дома. Я любила наряжать сестру. Поэтому, кроме шитья, мне приходилось очень много гладить, довольно много мыть: служанки в нашем кругу не мастерицы обращаться с кисеею, газом, тюлем. — Несколько раз в году мы бывали в театре; наш театр начинал казаться мне очень плох, но все-таки я любила его. В одну из этих зим, приезжала в наш город Ниссен-Саломан; услышав ее пение, я больше прежнего полюбила музыку. Брат имел любезность показать мне несколько опер. — Зимой, мы часто катались по широкому полю льда моей милой Волги. Это было очень весело: благодаря холоду и гладкому пути, наша лошадь вспоминала свои давние годы и бежала прекрасною рысью. Летом, иногда мы ездили на острова или на тот берег Волги. С весны до осени, я неумоимо зазывала своих на прогулки по садам в горах, с рощами: пристрастие к ним сохранилось у меня. Все было так хорошо.

Вот искренний, полный отчет о моей жизни до осени 1855 года. Я не скрывала моих заблуждений, которых не знал никто, кроме одной меня. Все близкие считали меня менее слабою, нежели какую знаете меня вы, прочитавшие эти страницы. Кому было известно, что и я когда-то мечтала? Кому было известно, что и я когда-то имела безрассудство написать к молодому человеку, признаться ему в любви. Никто не предполагал в моем прошедшем таких увлечений. Моя мать, мои подружки не скоро увери-

лись бы, что я не шучу, если б я вздумала рассказать им об этих моих воспоминаниях. Они не нашли бы в моих прежних годах времени, когда я казалась бы способна к этому. Много лет тому назад, они видели меня девчонкою веселою, смелою, но серьезною во всем серьезном. А с тех пор, как я перестала быть ребенком, они знали во мне девушку строгую, холодную, говорившую только о вещах, которыми заняты пожилые женщины.

Я не была дурна собою, и с той поры, когда увидела себя безопасною от наших молодых людей, не была лишнею в обществе молодежи: мои подруги находили, что со мною оно веселее. Я не дичилась и тех кавалеров, которые любезничали с ними; с теми, которые были женихами или поклонниками подруг, нравившихся мне, я была даже хороша. Но вся молодежь в шутку называла меня «наша молодая тетушка».

Я помнила, что если всегда казалась, то не всегда была такою благоразумно-холодною. Но это было так давно, и мои увлечения были так ничтожны, я так легко, — мне казалось, так легко победила их, стала так чужда им... Я вспоминала о них лишь для того, чтобы сохранять снисходительность к увлечениям других. Я думала, что отжила мою молодость. Правда, на моих щеках был ее румянец, но в груди у меня царствовала безмятежная рассудительность; я радовалась ей, верила в непоколебимость моего спокойного счастья и не жалела о том, что отжила свою молодость.

В этом бестревожном довольстве дожила я до осени 1855 года. Мне был тогда двадцать третий год.

VIII МОЛОДОСТЬ

Если б я понимала пароксизмы, по временам овладевавшие моим организмом, спокойствие за будущность исчезло б у меня гораздо раньше. Предвестия приближающихся страданий состояли в том, что иногда, проснувшись поутру, я чувствовала утомление во всем теле, тяжесть в голове, стеснение в груди. Больше я ничего не замечала, потому что спала крепко, ложилась и пробуждалась благоразумной, здоровой девушкой, занятой хозяйством, интересами родных, прозаическими заботами дня. Свои ничтожные болезненные ощущения я объясняла легкою простудою, угаром или просто тем, что приняла во сне неловкое положение и от этого сделался маленький прилив крови к сердцу или голове.

Я несколько не занималась этими случаями: они были нечасты, не были тяжелы, и всякий след их пропадал, едва я поднималась с кровати. Я имела от природы хорошее здоровье, не была мнительна; поэтому забывала о таких пустяках.

Я могу рассказать все подробности случая, заставившего меня обратить внимание на симптомы, которыми я пренебрегала.

Я легла спать спокойная, как всегда. До какой степени холодно и прозаично было настроение моих мыслей и всего моего существа, можно видеть из того, о чем я думала, положив книгу, и приготавливаясь заснуть: мне вспомнилось, что надобно сказать маменьке, что крупчатая мука у нас вся вышла, и завтра же надобно послать взять новый куль: — «как дорого стало все! Давно ли куль крупчатой муки стоил только пять рублей? — даже я помню это. А теперь надобно платить за него...» На этом я заснула.

Я вскрикнула и полупробудилась. — «Что это со мною? какая глупость!» прошептала я впросонках; но глаза мои не открылись, и я опять спала. — Снова, вскрикиваю во сне, вздрагиваю и совершенно пробуждаюсь. — Уже светает. — «Какие гадкие сны!» — Но глаза мои тяжелы, дремота одолевает меня, и я думаю, засыпая: — «мне хотелось бы опять увидеть такой сон». Я сплю; опять такой же сон; вскрикиваю и пробуждаюсь.

Было уже утро. Я встала и задумалась. Сны испугали меня и я не знала, как понять их.

Только такая девушка, какою была я, могла видеть такие сны на двадцать третьем году своей жизни, затрудниться тем, как объяснить себе их появление, их упорное возвращение и потом долго ошибаться в их значении. Я уже говорила, что могу рассказать здесь все три сна.

В первом, я видела себя на вечере у Шатиловых. Мы танцуем кадрили. Мой кавалер — кто-то незнакомый, но такой же, как все наши молодые люди, даже хуже многих. Он танцует довольно дурно. Лицо его некрасиво и вообще он не нравится мне. Мы кончили фигуру и садимся, пока танцуют другие пары. Мой кавалер, садясь, не выпускает мою руку из своей и смотрит на меня. Я чувствую, что кровь приливает к моему лицу, в глазах у меня темнеет; я падаю в обморок и сон исчезает в полупробуждении от стеснения в груди.

Опять я вижу, мы сидим в нашей гостиной: мать, я и какой-то гость, молодой человек. Он смотрит на меня; мать улыбается. Лицо его не нравится мне. Но он смотрит на меня так пристально, что я не могу оторвать взгляда от его глаз. Я опять чувствую, что кровь приливает к моему лицу, голова моя тяжелеет; я чувствую стеснение в груди, мне трудно дышать; я делаю усилие вздохнуть, у меня вырывается стон и я пробуждаюсь.

В первый раз, я полуочнулась от испуга и от стеснения в груди. Во второй раз, меня пробудила невыносимая боль в груди. Но это мучение было соединено с такою негою, что когда мои мысли начали путаться в новой дремоте, мне хотелось вновь

испытать это чувство; и сон, окончательно пробудивший меня, был также мучительно сладок. Я видела, что мы с Анною Ларионовною сидим на бульваре. Солнце заходит. Липы бульвара цветут; теплый воздух благоухает. По моим жилам разливается теплота, щеки мои горят, грудь стесняется томною негою. Анна Ларионовна говорит: «не правда ли, прекрасный вечер? — Что с вами, Лиза? Вам дурно?» — «Да», хочу сказать я, и вместо ответа у меня вырывается стон, и я пробуждаюсь.

Я встала недовольная собою и несколько испуганная. Что такое со мною? Здорова ли я? — и мне вспомнился целый ряд болезненных пароксизмов, которые до сих пор казались мне не стоящими внимания. В них было то же, что в этом; но в этом ясны были черты, которых я не замечала в своих прежних болезненных пробуждениях; теперь я увидела, что эти черты были и в некоторых из прежних пробуждений с тяжестью в груди и в голове, — быть может, во многих из них, — быть может во всех — почему я знала? — я не понимала их хорошенько, я не занималась ими. Теперь не могла не заняться: черты, выступившие в моем тройном сновидении, были слишком дурны и страшны.

Вот эти страшные черты, обнаружившиеся теперь для меня: страдание, от которого три раза пробуждалась я в то утро, было тесно связано с грезами сновидений. Мне вспомнилось, что и прежде, когда я, проснувшись, имела болезненное ощущение, мне виделись сны. Я не замечала этих сновидений, не думала о них, потому что они были ничтожны, не представляли никакой разницы от обыкновенных снов, которыми не стоит заниматься. Это были мелочные сцены в обыденной обстановке; чаще всего какие-нибудь неважные разговоры с моею матерью, с Анною Ларионовною, с подругами, вроде последнего сна этого утра. Как могла я прежде придавать им хоть малейшее значение? — Но теперь, два первые сна не были похожи на мои обыкновенные сновидения: в них участвовал молодой человек и его взгляд приводил меня в болезненное волнение. Мне помнилось тогда, молодые люди никогда не снились мне с той давней поры, как я перестала влюбляться.

Что ж такое эти прежние сны, которыми я пренебрегала? Неужели и прежде были у меня такие дурные сны, как первые два нынешнего утра?.. Неужели я осталась в снах тем, чем перестала быть наяву с тех пор, как бросила мечтать, — фантазеркою?

В первом сне, я чувствовала только страдание; во втором, оно было соединено с невыразимою негою, и в третьем также. — Я вспомнила, что и прежде чувствовала иногда сладкую томность, пробуждаясь с болезненным ощущением. Прежде, я не обращала внимания на нее, потому что она не была сильна, и я принимала ее за обыкновенное приятное чувство теплоты, которое

часто удерживало меня в постели, и знакомо всем с детства. Теперь, я не могла не видеть: эта нега происходила от волнения крови, которое возбуждалось во мне взглядом мужчины. Я сознавала это во втором сне нынешнего утра, и мне припомнилось несколько подобных сцен в моих прежних снах. — «Не это ли называется страстью?» — подумала я и похолодела от ужаса.

Я не могла не испугаться. Дремота после второго сна и первого полного пробуждения представляла симптом, который получал роковое значение для моей будущности, если то, что я испытывала, действительно была страсть: задремав, я желала, чтобы повторилась нега, бывшая в мучении моего второго сна. — «Неужели я попадаю под господство страсти?» — думала я, и мне вспомнилось все, что я читала о непреодолимой силе страсти.

До сих пор, я думала, что патетические страницы романов о могуществе страсти — выдумка, игра в красноречие, щегольство автора талантом описывать и прикрашивать. Я была уверена, что страдания и приключения героинь романов происходят лишь от недостатка серьезности в их мыслях; что если б эти барышни и дамы побольше занимались прозаическими заботами обыденной жизни, если бы понимали пустоту и вред мечтательности, они легко подавили бы порывы праздного воображения; когда-то я сама успела сделать это; — а все их увлечения основываются лишь на мечтательности, казалось мне. — Теперь, мне открывалось совершенно иное: во мне проявлялась какая-то сила, в которой нет ни малейшего оттенка фантастичности, и овладевала не воображением, а всем организмом моим. Мои первые два сна нынешнего утра были так будничны, просты, что фантазия, очевидно, не имела никакого интереса в этих сценах, не действовала на них; в моем третьем сне, вовсе и не было никакой воображаемой сцены; не было и мужчины, не было ничего похожего на мечтательность: я сидела на бульваре и не думала ни о чем; я только дышала теплым, благоухающим воздухом; — и мною овладело такое же волнение. Тут уж не могло нисколько участвовать воображение; это просто было чувство всего моего организма, главным образом груди, от волнения крови.

Теперь я поняла, что такое значат слова «волнение страсти», — или вообразила, что поняла их. Прежде, мне казалось, что ими выражаются те ребяческие шаловливые вспыхивания щек от глупенькой застенчивости, которыми забавлялась моя детская живость в те давние годы, когда я влюблялась и болтала с подругами о восторгах и мучениях своей любви. Нет, тогда мое сердце билось только из страха, что меня побранит маменька, если услышит, что я влюблена, — посмеются надо мною все старшие, если заметят, что я обожаю; я краснела только от робости, что скажут: «ах, как стыдно! — какая глупая, ветреная

девочка!» — Теперь, в этих снах не было мысли ни о ком и ни о чем: никому нечего видеть, нечего осудить; я чувствовала то, чего никогда не знала; я чувствовала, что кровь согревается, согревается в моих жилах, кипит и душит меня.

Что это со мною? что будет со мною? Я трепетала от страха, я плакала от досады на себя.

Внизу слышались шаги матери. Я взглянула в зеркало: я не могу так показаться ей. Мои глаза красны. — Мне надобно было долго ходить по комнате, чтобы мое лицо приняло спокойное выражение.

Заботы дня развлекали меня. Я довольно часто задумывалась о тревоге, которая смутила мое утро; но с каждым разом яснее казалось мне, что я преувеличила тогда важность дела. После обеда я совершенно ободрилась мыслью, что мой пароксизм был просто следствием какого-нибудь случайного раздражения нерв. Ушедши вечером в мою комнату, я стала искать причины раздражения. — Что могло бы расстроить мои нервы вчера? — Я припоминала весь день. Он прошел тихо, вяло. Так же прошел и день накануне, среда; также и вторник и понедельник; в воскресенье приезжал Аркаша; но и воскресенье было очень вяло: дождь разрушил все наши планы и мы провели день в тихих, обыкновенных делах и разговорах. Не была ли я одушевлена в субботу? — Но и суббота, и пятница уже сливались в безразличное однообразие со всеми предыдущими днями. Да и слишком далеко было искать причины раздражения нерв за четыре, пять дней. Нет; не было ничего такого, чем бы могло быть возбуждено волнение. — Безуспешность поиска возобновила мою тревогу: этот пароксизм — расстройство нерв, но без всякой особенной причины. Это что-то хроническое, какая-то органическая болезнь! — Может быть, опасная! — Что, если здоровье начинает изменять мне? — Но я с упорством схватилась за мнение: «это болезнь»; при всей своей неприятности, оно было отраднее, нежели страшная мысль, что я попадаю под господство страсти. — Какая же болезнь со мной? — Симптомы ее: тяжесть в голове, волнение крови. Не лихорадка ли это? — Но в лихорадке чувствуется утомление всего организма, ломота в ногах, особенно в коленях, ломота в плечах; этих признаков не было; как не было? — я только не думала о них, они были. Так, я имела ныне поутру утомление всего организма и особенно сильно отзывалось оно в ногах. Так, слава богу! Это лихорадка. Слава богу, это только лихорадка! — И мои сны только легкий бред лихорадочного жара, и мое желание в дремоте вновь испытать томную негу — только следствие лихорадочного бреда!

Как я была рада этому объяснению! — мне и не верилось в него, и непременно было надобно держаться за одну надежду. Я убедила себя, что оно верно, и стала принимать хинин.

Теперь, я удивляюсь только тому, что я дожила до двадцать третьего года в такой младенческой наивности, столь чуждая страстям.

Но мое воспитание было чисто, нравы моего семейства скромны. Я не приписываю себе того, что сохраняла непорочность мысли: я благодарю за нее мою судьбу.

Я не буду скрывать того, что было потом со мною: я не могу считать себя виновною в дальнейшем ходе моей внутренней жизни. Было время, когда я презирала и проклинала себя. Но любовь моих добрых родных поддержала меня, и теперь, опять спокойная, я пишу свою историю в защиту тех моих подруг по страданиям, которые менее счастливы, нежели я.

Не навсегда мои сны остались непорочны. Через несколько времени и днем стали представляться мне мечты, за которые стыдилась я сама и перед собою. Я не буду рассказывать этих видений: я пишу не для возбуждения страстей. Но я не умолчу ничего из истории моей болезни.

Да, это была болезнь.

Недолго я могла ошибаться в ее характере. Несколько дней я утешала себя надеждою, что хинин помогает мне и что со мною действительно была лихорадка. Но пароксизмы возобновились, делались чаще, делались сильнее; и постепенно мои сны так определенно приняли эротический характер, что сомнение стало невозможно. Я могла бы рассказать и сны этого периода: они были скромны; они не могли быть нескромны, потому что я не умела и во сне отгадать ничего нескромного; но они были страстны. Поцелуи жгли меня и даже вне объятий я задыхалась.

Но мои мысли еще оставались чисты, мой рассудок был силен, воля моя тверда. Я увидела, что напрасно было бы продолжать принимать хинин. Но я хотела найти другие лекарства; искала их, нашла, стала употреблять.

Сколько трудов стоило мне достать лечебник так, чтобы не встревожить родных! Я достала его. Каким стыдом горели мои щеки, когда я читала его! — Там говорилось о стольких вещах, непонятных мне до той поры, — какое отвращение возбуждали они во мне, и как дрожала я от горьких слез, убеждаясь, что мои опасения не обманули меня, что в самом деле во мне кипит страсть! — и что такое страсть! — не то, что я воображала... Вот, что значили рассказы замужних подруг! — не напрасно я чувствовала отвращение при мысли о их жизни: как гадко, о чем говорили они, как о наслаждении... меня тошнило, когда я поняла то, чем инстинктивно гнушалась, когда еще и не представляла себе ничего определенного.

Очень многое в лечебнике и в воспоминаниях о восторгах замужних подруг поняла я совершенно ошибочно. Много в лечебнике осталось и совершенно непонятно. Но слова, в которых излагались гигиенические правила, были ясны для меня.

Разумеется, я не могла сделать правильную диагностику, ступывала все, что говорится о разных видах расстройства в организме девушек, подобных мне по чистому образу жизни, применила к себе и такие советы, которые относились к совершенно иным состояниям организма, лишь бы замечала в их симптомах удушье, волнение крови, страстные мечты. Но моя воля была тверда: как ни тяжела была теория лечения, которую вообразила я полезною себе, я не имела недостатка в решимости и настойчивости.

Я стала строго соблюдать все предосторожности, какие вычитала из лечебника. — С детства, я привыкла спать на пуховой перине. Надобно было заменить ее матрацем. Но у нас в доме не было ни одного матраца. Купить? — Какой предлог нашла бы я купить его? — Мне казалось, что из одного слова о нем мать поймет все. Я и без того жила в постоянном опасении, чтоб она не догадалась. Когда мать взглядывала на меня, я боялась не увидит ли она какой-нибудь перемены на моем лице: не осталось ли блеска или томности в моих глазах, не бледны ли мои щеки, не кажусь ли я унылою, измученною. Мой страх за свое лицо и его выражение был еще напрасен: мое здоровье было крепко, и я хорошо владела собою. Я радовалась, что мать продолжает быть уверена в моем прозаическом, холодном благоразумии, и не хотела возбуждать внимания к себе никакою новостью. — В моей комнате лежал небольшой дешевый ковер. Я вздумала, что он еще лучше матраца будет служить для моей цели. Каждый вечер, я выжидала позднего времени, когда уже нельзя было опасаться, что сестра взойдет ко мне, запирала дверь моей комнаты на крючок, снимала с моей кровати пуховик, покрывала ее ковром. Я не могла привыкнуть к такой жесткой постели. Мои кости болели от нее, но что это значит! Лишь бы вылечиться!

Лечебник говорил, что не должно одеваться на сон слишком тепло. Я была изнежена и в этом. Но я отказалась от моего стеганого одеяла и стала покрываться летним. Часто, я дрожала и не могла заснуть; еще чаще, холод будил меня слишком рано и не давал заснуть вновь. Но я терпеливо переносила и недостаток сна, хоть он был очень тяжел для меня.

Я никогда не была обжорою. Но я была молода и здорова, и пользовалась хорошим аппетитом. Поэтому, каждый обед, каждый ужин мне была нужна довольно сильная борьба с ним. Сама по себе, и она не была важна для меня. Но она очень затруднялась родственною заботливостью отца и особенно матери: хочется есть и уговаривают скушать еще кусочек — в двадцать два года, это соблазнительно. Кроме борьбы, была и опасность: часто, меня спрашивали, не больна ли я, что у меня так мало аппетита. Иногда, я выдумывала головную боль. Но иногда, считала надобностью нарушить мою диету, чтобы не навлечь подозрения или не возбудить серьезного беспокойства за мое здоровье.

Я работала доупада и с тем вместе избегала всякого живого движения, чтобы не разгорячить крови. А я имела прежде веселый характер и молодое здоровье требовало не морить себя отречением от живости.

Мало ли чего другого делала я над собою? — Все, чем изнурили себя аскеты. Я не жалела мучить себя.

Не долго я обольщалась надеждою, что суровые предосторожности излечат меня. Сны мои возобновились, пароксизмы их делались все сильнее. Но по теории, вычитанной из лечебника, я думала, что если мое самоизнурение не побеждает болезнь, даже не останавливает ее усиления, то она стала бы развиваться еще быстрее, сделалась бы еще тяжелее, когда бы я отказалась от гигиенических пособий против нее: они по крайней мере смягчают мои пароксизмы, думала я и продолжала свой аскетизм. — Скоро, я принуждена была отказаться от одного из правил, которым истязала себя.

— Лиза, ты, должно быть, только не говоришь, а не совсем здорова, сказала однажды матушка: — Не пренебрегай этим, друг мой.

— Нет, я здорова, маменька, отвечала я хладнокровно и смело. Я уже привыкла к этим вопросам, и до сих пор мне удавалось хорошо отделяться от них. Но теперь, матушка не отступалась:

— Отчего ты так худеешь, Лиза? Я уже давно смотрю на тебя: ты с каждым днем худеешь. И очень часто, у тебя слишком мало аппетита. А за ужином ты вовсе ничего не ешь.

— Не знаю, маменька; мне кажется, я ем довольно.

— Какой же это аппетит, Лиза? разве прежде ты ела меньше сестры или меня? — А теперь! — она стала перечислять, сколько съела я в этот день; вчера: — какая это еда? А главное, ты худеешь.

Я едва могла прекратить ее заботливые сомнения.

Дня через два, три мы поехали на вечер к Ершовым. Там было много людей, с которыми я виделась нечасто. От них я услышала замечания, что я очень похудела.

На другой день, матушка с новою настойчивостью стала говорить, что, вероятно, я нездорова; иначе, отчего же мне худеть? — «Вчера, даже все посторонние люди говорили мне, что ты очень худа». — Еще труднее, нежели в прошлый раз было отстоять, что я не простудилась, что грудь моя не слаба, что я не стала бы пренебрегать болезнью, если бы чувствовала себя нездоровою. Я едва могла отклонить матушку от намерения попросить медика; медика! — который, как взглянет на меня, поймет все! — Но я отбилась от этого ужасного желания матушки.

— Что ж это с тобою, Лиза, если ты не можешь пожаловаться ни на какую болезнь? — продолжала матушка. — Если ты здорова, а так худеешь, то нет ли у тебя какого душевного

огорчения? Не расстроена ли ты какою неприятностью? Гнет ли у тебя какой-нибудь тайной печали?

Эти вопросы встревожили меня еще больше предположений о болезни. Я увидела необходимость прекратить мою диету: иначе, казалось мне, мать отгадает мое душевное состояние. Я перестала изнурять себя голодом и начала поправляться, полнеть, стала опять румяною. Мать успокоилась. И я сама почувствовала надежду: когда я начала есть попрежнему, пароксизмы ослабели.

Но не надолго. Скоро, опять достигли прежней силы; а потом, становились все сильнее.

Пришла весна 1856 года, и я начала худеть и бледнеть уже не оттого, что нарочно изнуряла себя голодом. Теперь, я действительно была больна, в строгом смысле слова. Первый припадок физического страдания, пересиливший меня, был принят мною за падучую болезнь; и я не знаю, меньше или больше испугалась я, когда, справившись в своем лечебнике, увидела, что это не падучая болезнь, а истерика.

Но я молчала. Никто, ни мать, ни сестра не знали об этих припадках, пока пароксизмы не достигли такой силы, что однажды я совершенно потеряла сознание, когда они еще не спали. Прежде, мне удавалось днем сохранять память. На этот раз, не спасла меня предосторожность уходить к себе на мезонин, когда почувствовала приступ болезни: мои крики призвали всех.

Когда я опомнилась, наши ухаживали за мною в испуге; — и Анна Ларионовна, и ее Варенька.

— Лиза, так нельзя делать, мой друг, — с нежным упреком сказала мне матушка, когда силы мои восстановились. — Я полагаю, что это не первый припадок с тобою. Он был слишком силен: видишь, Анна Ларионовна и Варенька слышали через двор, как ты стонала. Это не могло быть с первого раза. Непременно, ты чувствовала и прежде. Зачем же ты молчала, пренебрегала этим? Нехорошо.

Теперь, невозможно было сделать, чтобы не пригласили медика. Я стала лечиться. Пользы не было.

Тот медик, которого пригласил отец, не был отличным врачом. Но был человек честный, не самолюбивый. Увидевши, что моя болезнь не уступает ему, он сказал, что пригласит на помощь себе другого медика, который недавно приехал в наш город.

Мне было очень страшно видеть Левандовского: он лучше моего прежнего медика; что, если он поймет? — Но страдания были слишком сильны; да матушка с отцом и не послушали бы.

На другое утро, мой прежний медик привез Левандовского.

Я увидела молодого человека, красивого, с изящными манерами, — светского человека, а не медика.

Он сделал мне два-три пустые вопроса, даже и не пощупал пульс, и стал разговаривать о посторонних вещах. Потом, он сказал прежнему медику, что совершенно одобряет его метод лечения и не может предложить никаких других лекарств, кроме тех, которые я употребляю. Прибавивши ему что-то по-латыни, он продолжал разговор со мною. — Прежний медик, проводив его, просидел несколько минут с моею матерью.

— Давно я не бывала у тебя в гостях, Лиза, сказала матушка вечером. — Сходить, посмотреть как ты поживаешь.

Мы пошли в мою комнату. Я предчувствовала, что матушка хочет иметь разговор со мною: еще с обеда она часто, украдкой, посматривала на меня. Сестры моей не было за чаем: матушка дала ей какое-то поручение к Анне Ларионовне. Тогда же я увидела, что матушка только хочет удалить Сашу, чтоб она не вбегала, не помешала нашему разговору. Трудно сказать, что я вынесла в эти долгие часы с визита медика до разговора, которого ждала: «Он понял причину моей истерики, он сказал ее по-латыни моему прежнему медику: теперь маменька знает все; что я буду отвечать ей?» Я умирала от стыда.

— Садись подле меня друг мой, — начала матушка. — Я должна поговорить с тобою. Понимаешь ли ты причину своей болезни?

Я готова была броситься на колени и вскричать: «Простите меня! Я сама презираю себя!» Но матушка не дала мне времени отвечать: она видела, какое действие произвел на меня ее вопрос, и спешила ободрить меня; торопливо она положила руку на плечо мне; нежно наклонила к себе голову и стала гладить мои волосы; — «Я не умела начать, как должно, Лиза, — говорила она. — Не огорчайся на меня; я не хотела опечаливать тебя еще больше, когда ты и без того уже расстроена». — Разумеется, я могла только плакать. Но я знала, что это вредно мне, и успела успокоиться. Теперь, я очень сильно умела владеть собою; пароксизмы бывали так мучительны, что мне нельзя было не выучиться самообладанию.

— Я всегда удивлялась тебе, Лиза, — опять начала она, — ты не похожа на молодую девушку. Но твои лета еще не ушли, мой друг. Правда, тебе уже двадцать три года; но только наша глупая старина считает это слишком большими годами. Посмотри на людей образованного, богатого общества; они гораздо умнее нас в этом отношении. У них и в восемнадцать, и даже в девятнадцать лет девушка считается еще слишком молодою, и нередко невесте бывает двадцать пять лет. Что ж такое? — Лишь была бы ответственность по летам между молодыми.

Она помолчала, думая, не скажу ли я чего-нибудь; может быть, ей и думалось, что я могу сколько-нибудь поверить ее словам. Но если я была больна, то не была же безрассудна. — Лета, лета! — не лета, но где же мои женихи?

— Не думай также о том, — начала опять матушка, видя, что я молчу. — Не думай также о том, Лиза, что вот уже три года никто не сватал тебя, — начала она, — это происходило только оттого, что ты так держишь себя.

— Маменька, как же я держу себя? — Уже несколько лет я весела и разговорчива в обществе.

— Теперь, Лиза, ты чувствуешь свою ошибку, или, лучше сказать, мою. Быть может, ты обвиняешь меня. Точно; я не могу оправдать себя, мой друг. Я должна была объяснить тебе. Но как же говорить об этом? Это очень затруднительно. Думаешь бывало: как я стану давать мыслям дочери такое направление? — Казалось, нехорошо. То-то наша глупость, наши предрассудки! — И притом я была так же обманута в тебе, как и ты сама. До нынешнего утра, клянусь тебе богом, друг мой, мне и в голову не приходило, чтобы ты могла чувствовать свою ошибку! Как могла я быть такая слепая? Будто я не знаю, что такое значит истерика! — Но и не предполагала! — Твоя наружность, твое обращение, твой характер не допускали такой мысли. Думаю: она бывает и от других причин. Слепая мать, губила дочь!

— Маменька, вам не за что винить себя. Вы говорили мне тогда, что я могу раскаяться; вы говорили, что я принимаю трудное решение. Маменька, я не жалею на вас. Вы говорили.

— Говорила! — но как? могла ли ты понимать это, Лиза? — предрассудки наши, предрассудки! Губим мы с ними людей.

Что мы говорим? Что я слышу от нее? Она знает все и не презирает меня! Как может она не говорить мне, что я сделалась дурною, гадкою; что все будут презирать меня, если я не выздоровлю? Неужели и она думает, что это не зависит от меня? — Ее слова ободрили меня и я путалась в них, и не знала, что я чувствую: любовь ли к матери, признательность за ее доброту, за то, что она притворяется, будто я не виновата, — будто может думать, что я не виновата, — или я негодную на нее? — Да, я возмущалась ее словами. Мои понятия были строги. «Испорченная женщина» — «безнравственная женщина» — беспрестанно возвращалось в моих мыслях о матери: — «Она считает мою испорченность не преступлением! Я не стала дурна! Но разве я не чувствую сама, что я стала дурна? — Я была так тверда в наших правилах нравственности, что за отрицание их теряла уважение к матери: она называет их предрассудками! — Но это возмущение против ее доброты слишком противоречило и моей любви к ней, и моему знанию о том, как безукоризненна моя мать; слишком противоречило и глубокой потребности всего моего страдавшего существа: я мучусь против моей воли, как же я преступна? — Она права, я не виновата; она отвергает эту нравственность, — но эта нрав-

ственность разрушает меня, — она права, эта нравственность предрассудок...

Мои мысли были мысли существа страдающего, неспособного понимать утешение, успокоение в ином смысле, как в том, какой подсказывается мучением. Могла ли я понимать умеренные слова матушки? Я хотела видеть в них отрицание всего, что мучило меня, и в том, что называла она предрассудком, я хотела видеть все мои привычные понятия о нравственности... Я не знала, что думать мне, моя голова шла кругом... Не в первый раз отрицание законности всего, что терзало меня, поднималось в моей измученной груди...

Я не могла понимать матушку. Мои мысли шли, шли, низвергая все.

— В чем тебе винить себя, мой друг? — говорила и говорила она. — Кто ж может считать болезнь за вину? Делала ли ты что-нибудь против рассудка, против осторожности? — разве ты не заботилась о своем здоровье? — Когда простудишься, бывало, всегда принимаешь все средства; если устаешь, отдыхаешь; давно уж ты стала такая заботливая о себе, что и не сидишь долго по ночам за книгою, и не делаешь, как многие, чтобы в сырую погоду идти в кухню в башмаках; всегда остерегаешься, чтобы не промочить ног; бережешь всегда и грудь, и голову: чем же ты можешь быть виновата в том, что твое здоровье расстроилось? — Это не твоя вина, мой друг: богу так было угодно, это природа, мой друг... Поэтому, я не вижу, чего тебе краснеть передо мной: это пустой, глупый предрассудок, мой дружок. В одном только ты должна перемениться, когда чувствуешь, что это вредно для твоего здоровья: в том, как держишь себя. — Ты сказала: «как же я держу себя?» — На это, мой друг, я замечу тебе одно: вспомни, как ты обращаешься со всеми? — Так, будто ты моих лет. И я также, мой дружок, не держу себя пугалом и разговариваю, и шучу; тогда у Ершовых, мы все, старики и старухи, даже играли в веревочку, а Устинья Максимовна даже взяла жениха Наденьки вальсировать. Но кто же скажет, что она держит себя моложе наших с нею сорока пяти лет? — Так и ты: танцуешь, и говоришь, это правда; но все это так, как будто ты наших с нею лет. Будто ты сама не замечаешь, как обращаются с тобой? отчего это? Вспомни, что ты и кстати, и некстати обнаруживаешь, как мало занимает тебя все, чем интересуется девушка, которая еще не отказалась от желания нравиться. Ты даже прямо говоришь, что не имеешь намерения выходить замуж.

— Маменька, и другие говорят это.

— Не спорю; но каким голосом, Лиза. И притом у других обращение противоречит их словам. Что я посоветую тебе? — Ты держишь себя солидно; это прилично твоим летам. Но перестань говорить, что ты решила оставаться в девушках. Тем

больше я советую тебе это, что теперь ты не можешь думать и сама, как тогда. Зачем говорить против своих мыслей.

— Не поздно ли, маменька?

Я видела, что напрасно возмущалась словами матушки: я оклеветала ее в своих мыслях, придавая выражениям ее свой смысл. Она говорила о замужестве. И я сама, теперь уже спокойная, рассудительная, понимала, как всегда, кроме минут беспорядка в моей бедной голове, что я бываю гадкою, безнравственною девушкою в эти хаотические минуты. — Я давно видела, что мы говорим о замужестве, и сама давно думала только о том, возможно ли для меня замужество. Поэтому, на все ее слова я только сказала с печалью: — «Не поздно ли, маменька?» — Я уже давно образумилась и эти слова выражали все мысли, какие имела я с той минуты, как образумилась.

— Не поздно ли, маменька? — В этом была такая правда, что она замолчала.

Действительно, было поздно. Уже слишком долго все знали о моем намерении оставаться в девушках. Никто не мог обратить внимания на то, что я перестала говорить об этом своем решении. А что же больше могла я сделать? Неужели предлагать себя в невесты? Но кому, если бы я и была способна к такой наглости?

И матушка не могла же рассказывать. «У старшей моей дочери такая болезнь, что ей надобно выйти замуж для поправления здоровья; посватайте ей кого-нибудь, хоть вашего сына», или «вот бы вы и женились на ней».

Но я не знаю, повело ли бы к успеху даже и то, если бы моя мать стала подыскивать мне женихов, или я кокетничать.

Природа и разумная скромная жизнь отца и матери дали мне лицо, черты которого не были неправильны. Воспитание придало ему простое, — позволю себе сказать: честное, симпатичное выражение. Пока я была здорова, я могла нравиться.

Прежде, я радовалась тому, что я не безобразна. Но я не была так ослеплена, чтобы не замечать того, что стала видеть в зеркале.

В начале моей болезни, правда, я видела в нем не то: часто я казалась и самой себе почти красавицею, как подруги говорили мне, что я похорошела. Черты мои еще оставались молоды. Цвет кожи стал чрезвычайно нежен; румянец или возвышался до живости, или, слегка ослабевая, давал мне интересную томность, а выражение моего лица было, против моей воли, завлекательно, глаза мои сверкали или манили задумчивой негой.

Но недолго давала мне прелесть болезнь, о которой тогда еще не знали мои родные. Когда мои страдания были замечены ими, я уже дурнела и дурнела с каждым днем. Я видела это. Не скрою: мое сердце еще больше ныло от этого: я не любила безобразия.

Лицо мое осунулось. Я сделалась старообразна. Кожа потеряла мягкость, стала шероховата; цвет ее попортился. Иногда, я видела себя почерневшею, иногда, на моем лице проступали желтые, иногда грубые красные пятна... Нет, не стану описывать: мне неприятно вспоминать свое тогдашнее лицо, как неприятно было тогда взглядывать в зеркало. Довольно того, что я очень подурнела.

Кого могла я завлечь, если б и захотела? — Я понимала, что теперь никто не женился бы на мне иначе, как по расчету. А мое приданое не прельстило бы ни одного не только из тех, которые считались хорошими, — даже ни одного из посредственных женихов нашего круга. Оно могло доставить мне преимущество над большею частью моих подруг, пска я была соперницею им по красоте и свежести. Подурневшую, постаревшую, меня согласился бы взять разве человек, которого отвергла бы каждая из девиц нашего общества.

А я, безрассудная, попрежнему чувствовала, что не могла бы пойти за человека, который был бы ниже меня по развитию, если я мечтала теперь о муже, то я хотела, чтоб я могла уважать и любить его.

Но я мечтала о замужестве только в безрассудные минуты, или, нет, и в минуты безумной жажды я не мечтала выйти замуж. Поэтому, я не унижалась в обществе. Моя болезнь заставляла меня испытывать безумные желания, но я сохраняла власть над своими поступками и не искала себе жениха.

Мы были приглашены на именинный вечер в семейство пожилого господина, который приехал на место Симонова помощником управляющего удельною конторою. Это было доброе, деликатное семейство. Они были очень милы с чиновниками удельной конторы; держали себя с Каталонскими как будто с знакомыми. Через них знали и нас. Все чиновники удельной конторы и их семейства были позваны на этот вечер. По нашей связи с Каталонскими, хозяйева имели любезность не забыть и нас.

Но люди нашего круга составляли тут лишь меньшинство. Вечер был большой, хороший. Не говоря об управляющем удельною конторою и его семействе, были тут и несколько посторонних хозяину аристократов губернской службы; была половина, я думаю, среднего светского общества.

Из множества незнакомых лиц, мое внимание привлечено было в особенности одним: молоденькою, чрезвычайно молоденькою дамою. Она так понравилась мне, что я даже спросила, кто она. Мне сказали, что это — madame Левандовская.

Через несколько времени, мне пришлось танцовать визави с нею. — Муж много раз в вечер подходил к ней. Подошел и в

эту кадрили и стоял за стулом жены, говоря ей шутки, от которых смеялся и ее кавалер. — Когда я переходила на ту сторону, он не смотрел на меня: нет ничего обидного, нельзя же медику иметь охоту держать себя, как со знакомыми, со всеми, у кого ему приходится побывать раз, думала я.

Кадриль кончился. Я пошла в гостиную, но еще не дошла до двери зала, Левандовский подошел ко мне.

— M-elle Свилина, позвольте мне напомнить вам себя: врач Левандовский, однажды я имел честь быть у вас.

— Я очень хорошо помню вас, m-г Левандовский, — отвечала я, подавая ему руку.

Как я должна была перемениться в это время, с его визита! Я думала, что он не хочет возобновлять знакомства, а он только не узнал меня! А уже и во время его визита какая дурная и старая была я!

Вероятно, он прочел эту мысль на моем лице, потому что поспешил сказать:

— Вы извините, что я не осмелюсь заговорить с вами во время кадрили: в нашей профессии приходится видеть столько людей, и я хотел прежде удостовериться, что не ошибался: у меня память слабо удерживает черты лица.

— Вы очень любезны, доктор, — сказала я, засмеявшись. Мы с ним шли вдвоем. — Вы просто не узнали меня.

— Да, — сказал он серьезно. — Я не узнал вас. — Вы продолжаете лечиться?

— Да, — сказала я.

— Медик имеет особые права, m-elle Свилина. Я смею предложить вам один вопрос: после моего визита к вам не было никакого разговора между вами и вашею матушкою?

И прежде, он понравился мне. А теперь я видела, какая милая, хорошенькая его жена. Еще ни к кому никогда я не чувствовала себя в таком свободном отношении.

— Она говорила.

— И что же? Разве так слушаются медика? Его голос был так серьезен, — строг.

— Предлагать советы иногда бывает гораздо легче, нежели исполнять их, m-г Левандовский.

— Я не вполне понимаю вас. Я слышал, что вы девушка образованная; вы не должны были бы ставить предрассудки выше здоровья.

— Вы называете предрассудком то мнение, что для брака нужно взаимное уважение и некоторая, хоть небольшая симпатия?

— Для брака? — сказал он и замолчал.

Что хотел сказать он?

— Когда вы женились, m-г Левандовский, неужели у вас и вашей невесты не было расположения друг к другу?

— Было, вы правы: для брака необходимо уважение и сочувствие. Но прежде всего надобно слушаться медиков.

Зачем он дал такое ударение этим словам: «для брака»?

— Может быть, п-т Левандовский, мое здоровье восстановилось бы, по крайней мере, не было бы так дурно, если б я могла вести тот образ жизни, которого оно требует. Но я не могла исполнить всего, что считала нужным. Это потому, что прежде я старалась скрывать свою болезнь. Но теперь, когда родные знают ее, то все равно. Я сплю на жестком; но быть может, сплю слишком долго. Я очень умерена в пище, но ем то же, что другие. Я могу есть гораздо меньше, ограничиваться какою бы то ни было самою невкусною диетой; я могу спать только четыре часа в сутки. У меня достанет характера.

— Все это значило бы напрасно изнурять себя. Напротив, всякий аскетизм усиливает вашу болезнь; — даже и тот, который относится к пище; и всякий другой.

Я поблагодарила его за совет и спросила, как нравится ему наш город, и не жалеет ли он и его жена о Москве.

Этот разговор имел большое влияние на развитие моих мыслей, но уже гораздо позже. — Теперь, и еще долго потом, у меня бывали минуты такого страдания, когда я готова была на все в мире, чтобы избавиться от нестерпимой боли; бывали и минуты дерзкой страстности в мыслях; но это были только минуты, как в середине того разговора с матушкой. Вообще, я была тверда в том, что называла тогда всеми добрыми именами. Я не хотела быть дурною. Я боялась понимать смысл слов Левандовского, отталкивала от себя размышление о них, твердила себе: «он не хотел сказать ничего, кроме того, что я слышала от матушки. Мое испорченное сердце дает ложное толкование его незначительным толкованиям. О, как дурна стала я! Я готова самые невинные слова превращать в безнравственные внушения».

Во мне еще не было смелости отвергать принципы моего воспитания. Но у меня не было и силы безропотно переносить мои страдания. Этот долгий период болезни до приезда брата был временем отчаяния и горечи, которая переполняла мою измученную душу, тайно изливалась на все, в чем я видела тогда причины моих страданий.

«Тайно», сказала я. Нет. Однажды, у меня недостало твердости сохранить молчание. Вечно будет прискорбна мне память об одной — к счастью, только одной, но жестокой ране, которую нанесла я сердцу матушки. Я не хотела бы, чтобы меня называли чудовищем. Я сама не могу простить себе того, что оскорбила свою мать... Но клянусь, это было потому, что мой рассудок затмевался.

Моя память не могла смешать с другим этот вечер, вечер, когда я оскорбила мою мать!.. 3 сентября — черный день 1856 года, — черный день моей жизни.

Вакансия инспектора в Казанском округе не открывалась больше года после того, как Аркаша кончил курс, и до следующего лета Аркаша прожил в деревне, ожидая, пока освободится для него должность учителя в нашей гимназии. Он кончил приготовление своего воспитанника к университету, поехал с ним в Казань, помогал ему заниматься во время экзаменов, и с тем вместе поближе узнать о положении дела по своему определению на должность. 2-го сентября мы получили от него письмо, что, наконец, на-днях произойдет перемещение, которого он так долго ждал. Он решил не уезжать из Казани, пока не получит бумаги о своем назначении в нашу гимназию. — «Ура! готовьте свадьбу!» — весело прибавлял он.

На другой день, сестра обедала у своих будущих родных и осталась там на вечер. После обеда и отец ушел туда; матушка легла уснуть. Я ушла к себе на мезонин, стала читать; но была еще слишком взволнована вчерашним письмом. Хотела одолеть свои мысли, занявшись французским языком, но раздражение нервов, мучившее меня и накануне и в это утро, разразилось жестоким припадком истерики. Чтобы не разбудить матушку, я сдерживала стоны. Это увеличивало мои страдания, и оно дошло до того, что я лишилась памяти. Очнувшись, я чувствовала себя совершенно изнуренною; матушка сказала, что больше часу хлопотала со мною. Она продолжала ухаживать, несмотря на то, что сама была очень утомлена. Я стала просить ее уйти, потому что теперь мне легко. Она отвечала, что боится оставить меня одну, и продолжала ухаживать: то поправляла мне подушку, то предлагала выпить холодной воды, то подавала нюхать спирт. Мои нервы начали опять раздражаться.

— Маменька, вы устали; идите, отдохните, — сказала я голосом, уже дрожащим.

— Нет, Лиза, побуду еще с тобою. Ты видишь сама, как ты слаба: и голос у тебя еще больной.

— Идите, маменька, прошу вас, — сказала я сквозь слезы.

— Видишь, с тобой опять нехорошо, — отвечала она. — Вот вышей водицы.

— Отстаньте от меня, умоляю вас! — проговорила я с ожесточением. — Теперь поздно ухаживать. Надобно было больше заботиться обо мне прежде.

— Лиза, ангел мой! — печально произнесла матушка.

— Да, маменька, теперь поздно. Вы должны были знать это прежде. Вы могли предотвратить это. Я была глупа, не понимала. Вы должны были иметь рассудок за меня. Если бы вы были хорошая мать, вы побранили бы меня, заставили бы меня итти замуж, и этого не было бы. Вы погубили меня.

— Принуждать, Лиза! Подумай, что ты говоришь! Можно ли принуждать?

— Это была ваша обязанность. Вы причина всех моих страданий. Вы виноваты и в том, что я отказывала женихам. Зачем вы приучили меня читать книги? Вы должны были знать, что это лишнее для меня, что это повредит мне. Вы виноваты, что мне стали не нравиться люди, между которыми я должна была выбрать мужа. Через вас моя молодость была лишена всякой радости, мое здоровье погубило, ни один день не проходит для меня без мучений.

Мой голос прерывался криками и хохотом. Припадок возобновился.

Когда я опять пришла в себя, у меня не было силы броситься к ногам матушки. Я могла только говорить «простите меня, бедная маменька» — «я обидела вас». — Она сказала, что не думала обижаться, и запретила мне говорить. — «Молчи, тебе вредно. — Пожалуй, я уйду. Надобно бы уйти тогда, как ты и просила». — Я сказала, что теперь все прошло, и просила ее остаться. — «Ужасно мудрено, как поступать в такой болезни, — сказала она, опять в защиту себе, — и не слушаться нельзя, и оставить одну — тоже боишься».

Так. Она не сердилась на меня. Между нами не могло быть неудовольствий. Но она понимала, что слово, которое высказывается в самозабвении, открывает самую глубокую тайну души. Узнать, что человек любимый вами, искренно любящий вас, считает вас причиной своих страданий — это очень горько. Пусть он несправедлив, пусть он сам понимает, что несправедлив против вас. Но вы любите его, и поэтому ваше сердце разделяет все его чувства, даже те, о которых вы оба знаете, что они ошибочны. После моих упреков, матушка очень долго винила себя в моих страданиях. — «Сижу, бывало, — говорила она мне потом, — и думаю: как же я не виновата? Я ей мать. Если бы не было в чем-нибудь моей ошибки, как же она стала бы несчастна?»

Это был единственный случай, когда я потеряла власть над своими словами. Вообще, замечали во мне только одно: часто бывало, что я вдруг вставала и уходила в свою комнату. Они приписывали слабости, думали, что я уйду лежать, отдохнуть. Они не знали, что характер мой изменился. Я умела скрыть от них эту порчу, но я не узнавала себя.

Прежде я была ровного, кроткого характера. Я родилась бы слишком дурною, если бы не выросла доброю и мягкою. Никто никогда не притеснял и не обижал меня. Наше семейство жило дружно.

Но теперь, часто кипела во мне желчь, я ненавидела, меня терзала зависть.

Сестра не подозревала, какую злобу я часто чувствую к ней. Она видела только, что попрежнему радуюсь ее счастью. Я и радовалась ему, когда владела собою. Но когда болезнь

пересиливала мой рассудок, я мучилась завистью к ней. Какой борьбы стоило иногда мне слушать ее рассказы об Аркаше, о ее и его любви ко мне, о том, как счастливо мы будем жить. Я собирала все добрые силы моей души, чтобы сочувствовать ей и обыкновенно это удавалось мне, пока я видела передо собою ее невинное лицо. Но какими злыми слезами плакала я потом в моей комнате, когда никто не мог подсмотреть, как дурно стало мое сердце.

Я не могла без ужаса думать о приближении того, чему и я радовалась, по мнению всех наших. Сколько часов провела я, поддаваясь тайному злему желанию: «о, если бы расстроилась эта свадьба! если бы, по крайней мере, эти счастливицы не остались в нашем городе! если б Аркашку перевели куда-нибудь! если б устроилось хоть то, чтоб они жили не вместе с нами!» Но я знала, что я не буду спасена от мучения ежеминутно видеть их счастье. Давно, — с самого их обручения, — было решено, что они будут жить в нашем доме. Невозможно было, чтобы они не жили в нем. Отец уступал Аркаше свой кабинет. Сестра уже много лет имела свою отдельную комнату. Всем будет просторно: нас будет только пять человек в семи комнатах.

У меня было одно утешение: говорить себе: «может быть, это придет еще не скоро». Письмо Аркаши из Казани отняло у меня эту надежду. С каждым днем, надобно ждать приезда Аркаши. Страшный удар!

Отчаяние, в который он поверг меня, объясняет мою жестокость с матерью, когда я уязвила ее напрасными словами.

Быть может, было даже к лучшему, что произошла эта ненавистная сцена: власть моей злобы надо мною ослабела: стыд и раскаяние увеличили мою силу бороться с моим сердцем, подурневшим, как мое лицо, и у меня достало твердости казаться доброю сестрою во все страшное время приготовлений к свадьбе, первых дней после свадьбы. Быть может, если б я не опечалила мать упреками за мои страдания, я еще жесточе огорчила бы ее потом, в это ужасное время после приезда Аркаши, дала бы ей еще глубже увидеть черные тайны моего раздраженного сердца; дала бы ей увидеть в нем не только порицание против нее за мои мучения, но и вражду к сестре; теперь я успела скрыть хоть это.

Осуждая себя, я не осуждаю безусловно. Как велико человеческое тщеславие! — Мне льстит воспоминание, что после этой гадкой сцены я держала себя, как была обязана моею любовью к любившим меня. Я не была чудовищем хоть повидимому, хоть в их глазах, если не в моем черном самосознании, и я горжусь этим! — Но, действительно, я не знаю, как могла бы я перенести это время, если б не любила сестру очень горячо.

IX

СВАДЬБА И МОЛОДЫЕ

Вспоминая то время, я удивляюсь силе человеческого организма. Или я была одарена от природы слишком большим запасом крепкого здоровья, что, и ослабленная болезнью, пережила эти пытки.

Например, эта встреча Аркаши.

Сестра проводила целые дни на моем балконе, все смотрела на Волгу, не покажется ли пароход, все смотрела вдоль по улице к Волге: она хотела первая увидеть Аркашу, когда он будет идти к нашему дому от пристани, бывшей близко под нашим домом. — «Я первая, одна побегу, навстречу к нему! — говорила она, — я одна хочу встретить его!»

Это было поутру. «Слышишь, Лиза? идет пароход сверху; не на нем ли он?» — и она потащила меня на балкон. «Скажи, Лиза, придет он на этом пароходе?» — И я должна была шутить, быть веселой: могла ли я огорчить ее, не показывая ей симпатии? — «Он, он, Лиза! Какой он догадливый! Он знал, что я буду смотреть, ждать! Перешел на ту сторону улицы, чтобы я могла увидеть! Лиза, скажи, что это он». — Я должна была сказать, что это он. Но еще нельзя было рассмотреть. — «Ты опять обманываешь, Лиза, как вчера! Ты тоже еще не видишь, он ли. Что, если это опять не он, как вчера? — Я должна была шутливо отвечать, что опять буду утешать ее, как вчера. — «Лиза, снял шляпу, поклонился! — идем, бежим к нему», — она тащила меня. — «Саша, да вспомни, что ты хотела одна встретить его, не хотела никого допустить разделить с тобою эту честь». — «Иди, душенька, Лиза, скорее!» — «По крайней мере надень шляпку и позволь надеть мне». — Мы надели шляпки и пошли встречать Аркашу. На долю мне досталось вдвое больше объятий и поцелуев, чем каждому из них: обняв ее, он непременно обнимал и меня; поцеловав его, она бросалась целовать и меня.

Но это началось бесконечно, когда мы уже вошли за ворота; на улице — мы обнялись только несколько раз; — на улице они все повторяли, что мне, собственно мне они обязаны своим счастьем... и потом, каждый день, каждый час были те же уверения и от него, и от нее. Могла ли я не платить им любовью за такую привязанность?

Правда, я не изменяла своей обязанности быть полезною для Саши. Правда, я понимала, что сестре легче говорить с сестрою, нежели с матерью, как бы ни была добра и ласкова мать. Правда, я понимала, что ей легче принимать советы от меня, нежели от матушки. Но и без моего примера, и без моих разговоров, Саша выросла бы хорошою девушкою. Они преувеличивали пользу, которую принесла ей я. Она была воспитана

жизнью нашего семейства, эта добрая жизнь сложилась не под моим влиянием. Сестра, как и я, всем обязана матушке.

Скорее, могу я согласиться, что не была бесполезна для Аркаши. При живости своего характера, он мог бы потерять время в университете, как терял до последнего года в гимназии. Может быть, он и не поехал бы в университет, если бы я не стыдила его. Впрочем, и в этом он преувеличивал мое влияние на него. Тут много значил пример моего брата.

Но если я спорила против их преувеличенной признательности, то не могла не ценить их любовь, которою одною объясняется эта ошибка и Аркаши, и сестры. Но их любовь ко мне, бывшая прежде самую сладкою моею радостью, отравляла теперь мою жизнь.

Я старалась развлечь себя заботами о свадебных приготовлениях. Напрасно. Он и она терзали мое завистливое сердце своими ласками при встрече; как прежде, сестра делилась со мною всеми своими мыслями об Аркаше, как прежде он описывал мне свою любовь к ней, так и теперь; я не могла сделать, чтобы не быть беспрестанно третьею при их разговорах; было бы слишком грубо отталкивать их доверчивую симпатию, и они воображали, что я радуюсь на их нежные ласки друг другу...

Я и не отталкивала, я и радовалась: у меня не доставало силы отказать себе в тоскливом наслаждении, какое давали мне их жаркие разговоры, и я не могла отводить глаз от их ласк; каждый поцелуй их разливался огнем и по моим жилам, и от их нежных слов друг другу трепетало, замирало и мое сердце... Нет, это не было мучение — это было упоение, и в этой чаше смертельной горечи я пила восторги.

Да, и я была невестою, страстною невестою, и я была новобрачною, робкой и нежной, пламенной и стыдливой новобрачною, — невестой без жениха, новобрачною без мужа, невестой и новобрачною вдовой, вдовой.

О, это время, время блаженства!

Я твердо хотела не нарушать счастья их, радости всех наших. И как велика может быть власть воли над нервами! — я все это время выдерживала мои волнения: со мною не бывало припадков днем и я успевала скрывать, что бывало со мною по ночам.

Но через две недели после свадьбы сестры, я изнемогла и долго не могла вставать с постели.

Как нежно ухаживали за мною матушка, сестра, Аркаша, его мать!

Мне кажется, я не знала до той поры всей силы их любви ко мне.

Опасность миновала довольно скоро: не больше месяца они опасались за мою жизнь. Но я поправлялась потом очень медленно. Они не скучали ухаживать за мною в эту долгую зиму. К весне, я уже могла ходить.

Х БРАТ

Я так привыкла к своему состоянию, что считала себя совершенно выздоровевшею, когда могла выходить и выезжать. Поэтому, постепенно и все наши, даже матушка, перестали беспокоиться обо мне.

Брат с весны, следовавшей за свадьбой сестры, писал, что надеется в это лето — 1858 года — побывать у нас.

Мы не виделись уже пять лет. С того времени, как он прислал мне 1500 рублей, его письма к нам почти ничего не сообщали о его делах, отношениях, жизни. Мы знали, что он служит, что он пишет что-то в одном из хороших журналов, но не знали даже, какие статьи принадлежат ему. На мои вопросы об этом, он отвечал: «Я занимаюсь черною журнальною работою, о которой не стоит говорить». На вопросы матушки о его делах он отвечал также коротко, что живет без нужды. По временам, — в последние полтора года, — он присылал нам подарки, которые показывали, что иногда у него бывает пятьдесят, сто рублей свободных. К свадьбе сестры он выслал ей подарков рублей в триста, или больше.

И прежде, еще юношею, он имел характер суровый и сухой. По его замкнутости в переписке с нами я полагала, что эти черты развились в нем. Я не могла сомневаться, что он человек благородный, готовый помогать родным. Но мне казалось, что четыре года жизни в эгоистическом Петербурге приучили его смотреть на нас, как смотрят на дальних родственников: их не оставляют без помощи, когда они нуждаются; но их интересы и мысли — не наши, и жизнь их не имеет ничего общего с нашею.

Впрочем, его обещание навестить нас очень обрадовало все наше семейство; особенно отца и мать: брат составлял гордость их. Сестра была еще ребенком, когда видела его в последний раз, а теперь у нее была своя полная жизнь. Аркаша — когда-то большой приятель брату — думал, что петербургский литератор не станет на равную ногу с провинциалом, все мечты которого ограничиваются тем, чтобы лет хоть через пятнадцать дослужиться до директора гимназии.

Я, не имевшая своей личной жизни, кроме страданий, — теперь, после болезни, уже не жгучих, а только скучных страданий, — не могла быть так холодна к свиданию с братом, как сестра и Аркаша; но понимала, что я почти чужая его сердцу.

Мы дожидались гостя. Его наружность, манеры, обращение с нами в первое время, — все подтверждало мысли, которыми обменивались о нем мы с Аркашею и сестрою, которых не могла оспаривать и матушка. Мы даже не думали, что Петербург положил на него такой резкий отпечаток.

Мы увидели брата мужчиною худощавым, но очень крепким.

Мы удивились, когда он на третий день после приезда, ушедши «погулять», стал рассказывать за обедом, как понравился ему вид с Монастырской горы, Соколовой горы — гораздо больше прежнего.

— Гриша, неужели ты ходил туда? — спросила маменька.

— Да; что ж, разве это далеко?

— Да это значит, ты прошел верст десять.

— Не знаю, мне не показалось далеко, — сказал он, и стал рассказывать, что в Петербурге такой моцион не считается утомительным. — В Петербурге все далеко и нельзя баловать себя, как в провинции, по его словам. По его словам, в провинции люди избалованы.

В платье, которое привез он, не было ничего щегольского. Он и говорил, что не любит тратить деньги на платье, и, по его словам, вообще в Петербурге нельзя сорить деньгами, как делают в провинции. Но до сих пор, мы не видели вблизи мужчин, одетых, как он. Костюм Лачинова был жалок перед его сюртуком и пальто, а Лачинов одевался очень хорошо. По его словам, в Петербурге все, у кого нет богатых родовых имений, живут бедно, а он сказал, что имеет тысячи две дохода, некоторые его знакомые больше: это мало в Петербурге для одинокого человека.

По его словам, надобно было думать, что он человек очень неважный, что светское петербургское общество и недоступно ему, и служит для него предметом презрения. А между тем, когда отец спрашивал его о чине и официальном положении людей, о которых упоминал он, оказывалось, что один его приятель — статский советник, другой — полковник гвардии. В то же время, видно было, что все они живут очень скромно, едва ли не скромнее нашего: квартира брата состояла только из двух комнат; ни у кого из его приятелей не было своей лошади.

Все это было слишком непохоже на привычки и отношения нашего города. Брат стал чужд по жизни не только нам, — всему, кроме своего странного Петербурга.

Так он и держал себя с нами: был разговорчив, ласков; с матерью даже нежен. Но охотно слушая нас, охотно рассказывая нам о Петербурге, он ничего не говорил о себе. Не то, чтоб он избегал ответов на расспросы отца и матери о его делах и образе жизни: он описал и свою квартиру, и то, как он проводит день. Но все это были только подробности о его обстановке, о внешней стороне его привычек и занятий, то, что мог бы рассказать его слуга (если бы у него был слуга; но он жил без слуги!). О своих радостях и заботах он ничего не говорил, будто чувствуя, что они были бы неинтересны нам. И правда: даже матушка не замечала, что он не рассказывает ничего из того, о чем идут у него разговоры с близкими ему людьми — если у него есть близкие люди.

Это замечала только я; потому что у меня одной было на душе много невысказанного и я желала бы найти человека, которому могло бы раскрыться мое бедное сердце, — зачем? — не из надежды найти опору себе, избавление: мне не могло быть избавления; — только потому, что страдающему хочется высказать перед кем-нибудь свое горе.

Я вперед знала, что у брата не будет охоты делаться слушателем моих жалоб на судьбу; и все-таки, хоть я и не надеялась, я была очень опечалена, увидев, что не ошиблась, не надеюсь.

Он был ласков и ко мне, но совершенно холоден. При встрече нашей, он заметил: «хоть я и знал, что Лиза была больна всю зиму, но не думал найти ее такую исхудалою. А это ты нагала на себя, Лиза, что стала ужасна нехороша лицом: напротив, даже интересна. Не для того ли и вздумала худеть, что у вас, вероятно, в моде такие интересные барышни, — «неземные», — прибавил он шутя. (В самом деле, после болезни я была так слаба, что страсти уже замолкли во мне; желтые и красные пятна не являлись на лице и кожа стала очень нежная). — «Надобно больше есть, Лиза, — продолжал он, шутя. — Вы, маменька, мало кормите ее». — После этого, мы стали говорить о других. — Потом, дня через два, он опять сказал, что ему неприятно видеть, что мое здоровье так мало поправилось. Маменька сказала, что я давно такая и стала рассказывать свои сожаления о моем здоровье; я сказала, что я теперь совершенно здорова и что не каждый, кто не толст и не румян, должен непременно считаться больным; вот, например, хоть он: очень худощав, а мы видим, что у него хорошее здоровье. — «Я — другое дело, Лиза: я живу в Петербурге, — отвечал он. — А у вас все здоровые — толстые, по-вашему нельзя не жиреть». — После этого, брат не говорил ничего особенного ни со мною, ни обо мне. Я и знала вперед, что будет так.

Но тогда же, на третий или четвертый день после его приезда, был разговор о нем самом, и слова, которыми он покончил его, были для меня слишком важны. Я вперед знала, что мои эгоистические надежды и дурны, и несбыточны; я и не могла иметь их; мне казалось, и не имела, а после этих его слов, вовсе выкинула их из головы.

— А что, Гриша, из твоих разговоров как будто видно, что едва ли ты знаком с кем-нибудь из семейных людей, — сказала матушка.

Что делать — материнское сердце! — ей хотелось стороною подойти к тому, не даст ли он ей надежду иметь невестку.

— Из женатых? — мало; впрочем, есть и женатые, — сказал он. — Даже знаком с женами двоих, — нет, ошибся, даже троих. — Да вы к чему, маменька? — Он засмеялся. — Не обзавелся ли невестою, не скрываю ли от вас такой радости? —

Нет, бог миловал. Э, маменька, — продолжал он серьезно. — В Петербурге нельзя баловать себя такую роскошью. Я и один-то едва могу жить. Право, и одному-то не очень сытно.

Что ж было мне мечтать после этого? — Да и прежде я знала, что это невозможно.

Брат приехал к нам на полтора месяца. Прошло уже с месяц после его приезда.

Однажды, мы пили чай на моем балконе, вечером. Это было для брата: это напоминало ему петербургские дачи. Постепенно, все ушли. Брат остался со мною один. Он читал какую-то немецкую книгу. Я вышивала. Стало темнеть. Брат оглянулся.

— Испортишь ты глаза с этими пустяками, Лиза. По крайней мере, зажги свечу. А лучше бросила бы ты свои вышиванья. Больше бы гуляла, — садик есть, сидела бы да ходила бы там весь день; это было бы полезнее для твоего здоровья. А, кстати, об нем. Я давно собирался спросить у тебя: отчего ты стала такая хилая? Что за истерики? Откуда ты набралась их?

— Как тебе сказать, Гриша. Прежде у меня было хорошее здоровье, теперь — плохое.

— Ты меня извинишь: у тебя младшая сестра скоро родит, можно говорить с тобою просто. В Петербурге я полагал: обыкновенная причина, девичество. Приехал, смотрю на тебя: нет; как всегда была бесполое существо, так и осталась. Сестра с мужем обнимаются при ней, ей и горя мало. Эта истерика у тебя не от девичества: тебе, кажется, все равно. Отчего ж?

Что мне было сказать ему? — «Наружность, в которую все верят, обманчива; я тоже человек». — Я и была, и осталась застенчива.

— Не шутя, спрашиваю тебя, Лиза. Я пробовал говорить с матерью. Она уверяет, что все они любят тебя — удивительная новость; что ей тоже жаль тебя и что она плачет — удовлетворительное объяснение. Я вздумал спросить, не ошибаются ли, считая тебя женщиною совершенно холодного темперамента; она даже обиделась. Может быть, обижаешься и ты: вы здесь такие нравственные. Что ты скажешь?

— Я не обижаюсь, Гриша.

— Не отвертывайся. Я спрашиваю, что ты скажешь о причинах твоей болезни?

— Не все ли равно, Гриша, отчего бы ни происходила она?

— Не все равно. Поживши с вами, я стал думать: не от скуки ли это? — У вас здесь порядочному человеку можно умереть от скуки. Так, что ли? Если «да», поедем ко мне в Петербург.

Я была ошеломлена этим, особенно после тех его слов маменьке, что ему было нечем содержать жену.

— Благодарю тебя, Гриша; но тебе и одному трудно жить.

— Это правда, что денег — в обрез; да для тебя-то до-

станет. Да ты почему вздумала о деньгах? — потому, что ли, что я сказал тогда, что мне нельзя и думать о женитьбе? — Это совсем другой расчет. Берешь жену, то имей и средства жить не хуже других: совершенно иные требования. Если женатый не живет довольно открыто, сейчас же начинают третировать его иначе: беден, нуждается. А при тебе, я не обязан переменять образа жизни: холостой, и живу по-холостому. Что для тебя нужно? — Лишняя комната, только. Вместо того, чтобы жить в *chambres garnies*, обзаведусь при тебе своим хозяйством и расходы даже сократятся.

— Нет, Гриша, — сказала я и захохотала.

Он еще не видывал, что такое истерика. Или его не бывало дома, или я успевала скрыть, уйти в сад; а по ночам он спал, как убитый. — После этого, он и не стал рассуждать со мною, а просто сказал матушке, что увезет меня с собою в Петербург. Она была удивлена не меньше, чем я.

— Теперь, я вижу, Гриша, что Петербург не такой дурной город, не так портит людей, как думаем мы, провинциалы, говорила она; а это твоя правда, что здесь у нас ей скучно и что какое же здесь общество для нее.

Я хилела так быстро, что видела приближение смерти; я уже и была примирена с мыслью о ней; она казалась неотразима; да и жизнь перестает быть мила, когда страдания слишком тяжелы и неотступны. Я не имела отдыха от них. Я готовилась умереть и наполовину уже умерла. Все потеряло для меня интерес.

Мысль о переселении в Петербург оживила меня. Я избавлялась от адского мучения видеть счастье сестры. Я войду в общество, совершенно непохожее на то, которое воспитало и погубило меня...

Мне началось казаться, что я становлюсь менее хила.

Прощанье с сестрою, отцом, матерью расстроило было меня так, что если я и поправлялась после решения брата, я в начале пути чувствовала себя хуже прежнего. Два дня я пролежала на пароходе в совершенном изнурении.

На третий день, я могла встать и выйти на палубу. Я в первый раз увидела местность дальше той, которая видна с моего балкона и соседней площади Нового Собора. Мне и странно, и радостно было смотреть на пространство, на котором нет ни нашего города, никакого города, ни даже села: широкая река, горы на западе, степь на восток... Свободная природа и я, свободная среди нее...

Это чувство было ново для меня: свобода, свобода...

Когда мы сошли на Тверской пристани, я была уже такая сильная, что, почти не опираясь на руку брата прошла сотню шагов в гору, до дрожек, которые повезли нас на железную дорогу.

XI

ПЕТЕРБУРГ

Не знаю, хорошо ли я сделала, что не описала жгучих восторгов, которыми мучилась в первые два года моей болезни, от осени 1855 года до того времени, когда изнемогла после свадьбы сестры. Очень может быть, что я сделала дурно, решившись молчать о них. Они послужили бы апологиею для страдалец столь же мало, как я, виноватых в болезни, которую я рассказываю. Женщины, жизнь которых сложилась лучше или хуже моей тогдашней, и почти все мужчины воображают себе эти грезы вовсе не такими, какими бывают они у девушек, подобных мне. Материальная сторона любви была совершенно темна для меня; и все, что могла создавать моя фантазия под властью сладострастного томления, состояло в поцелуях и крепком прижатии груди к груди. Если бы я изобразила видения, при которых горела огнем, они вынудили бы изумление своей невинностью. Одно только было нескромно в моих тогдашних пароксизмах: жгучее ощущение, которым сопровождалась скромные ласки. Но чувство это было упоительно страстно и оно давало бы очаровательность, соблазнительность картинам, в которых не было ничего грубого. Я не буду щадить себя. Но я не хочу возбуждать страстей.

Впрочем, ни эти видения, ни сладко-мучительное томление, которое вызывало их, не были главным элементом болезни, разрушавшей меня, и не остались всегдашнею принадлежностью ее пароксизмов. Нет. Сладострастные грезы, постоянно усиливавшиеся до той поры, когда я изнемогала после свадьбы сестры, покинули постель полумертвой, и не возвратились, когда я опять поднялась на ноги весною 1858 года.

Мой организм был совершенно изнурен. Я опять сделалась бесстрастным существом, каким была в мои прежние, счастливые годы, до начала болезни. Разница была одна: в девятнадцать лет, я не имела страстных волнений потому, что мое воображение не знало, мое тело не требовало физической любви; на двадцать пятом году моя фантазия, пресыщенная эротическими картинками, перестала воспроизводить их, потому что уже не получала возбуждения от ослабевшего тела.

Было время, когда она с пламенною яркостью рисовала их, потому что кровь горела во мне; но никогда она не была виновна в них: никогда не предупреждала, не вызывала страстных пароксизмов: ее раздражение было только следствием волнения, которое огнем охватывало мое тело без моей воли, без участия моей мысли.

Мое бедное тело было теперь истощено, и сладострастие исчезло из моей фантазии с разрушением здоровья. Но если физическая потребность любви затихла, тем слышнее стало

томление другой стороны того же чувства. Кровь моя была спокойна, сердце изнывало тоской одиночества.

Я горячо любила моих родных; и они любили меня. Но я не была нужна никому из них. Для матери я была только одною из двух дочерей; сын, хоть и живший далеко, был ей важнее обеих нас; товарищ всей ее жизни, старик муж, был товарищем всех ее мыслей. А сестра — что же значила я для нее, счастливой, любящей, молодой жены? — Она и Аркаша любили меня: отец и мать больше, чем любили: я была мила их сердцу; но я не была нужна никому из них.

Безрассудные мысли! — но разве я сама не знала, что они безрассудны? — Я не хотела иметь их, и никогда не верила им.

Перед отъездом в Петербург, я, тайком от наших, была у Левандовского. — «Я думаю, доктор, что и вы, как я, ошибались. Брат угадал истинную причину моей болезни; это — скука. Я чувствую, что стала поправляться, как только он сказал, что берет меня с собою в Петербург. Я очень скучала здесь. Наше общество совершенно незанимательно для меня. Другою причиною было, что мои нервы ужасно раздражались тем, что живу с сестрою. В Петербурге я не буду иметь перед глазами ничего, возбуждающего зависть, и брат живет в обществе, которое состоит из таких людей, как вы и он, — с которыми нескучно говорить. Я выздоровлю».

— Я надеюсь, что в Петербурге ваши силы несколько восстановятся, — сказал он. — Но не думайте, что вы можете выздороветь. Вы могли бы выздороветь в сорок пять лет. Но вы не достигнете этого возраста, если не измените ваш образ жизни. Новизна обстановки, занимательность общества несколько развлекут вас, уменьшат ваше изнурение; но это поведет лишь к тому, что ваши страдания опять получат прежний характер, который отнят у них только совершенным упадком сил. Это и будет итти такими кругами: только мучение, пока вы изнурена; едва силы сколько-нибудь восстанавливаются, страдания принимают горячий характер; он усиливается, пока вы опять совершенно изнемогаете. А между тем, расстройство все увеличивается и эта история не может тянуться очень долго. Я не мать вам, и не имею власти над вами; но я предупреждаю вас: мучения до самой смерти — может быть, к вашему несчастью и не близкой, но неизбежно в молодых летах — или слушайте медика.

Я заплакала.

— Доктор, ваши слова ужасны. Семейство отречется от меня, общество будет презирать.

— К сожалению, я не могу оспаривать ваше мнение об отношениях к обществу и, за одною оговоркою, должен сказать, что разделяю ваши ожидания относительно семейства. Но я не имею удовольствия знать вашего брата; очень возможно, что он не похож на вашу матушку. Вы позволите мне видеться с ним?

— Ни за что! — сказала я с ужасом. — Лучше умереть.

Я умоляла его, чтоб он не виделся с моим братом; он должен был дать мне честное слово, потому что пожалел подвергать меня пароксизму.

Я думаю, что он дал мне слово только, чтобы обмануть меня. Но брат никогда не говорил мне ничего. Брат не обращал внимания на меня. Он не обратил внимания ни на что, никогда... Я думаю, что брат обманывал меня и в том разговоре, когда предложил мне ехать с ним в Петербург... Брат был добрее всех ко мне: он один спас меня и тогда, и после.

Никакой надежды. Смерть или позор...

Смерть лучше...

Может быть, я и осталась бы при этой мысли, если бы силы мои не начали восстанавливаться...

Я сказала, что путешествие по Волге укрепило меня до такой степени, что я могла, почти не опираясь на брата, взойти на подъем Тверской пристани.

Брат был так добр, что взял для меня два места в вагоне; поэтому я не была сильно утомлена железною дорогою, и когда мы приехали в Петербург, я сама поднялась по лестнице целые два этажа; но он взял меня на руки и понес, как ребенка; он очень силен; да и я такая худая.

Странное впечатление произвело на меня общество, с которым я начала знакомиться. Я видела почти исключительно мужчин. Три молодые дамы, которые познакомились со мною через своих мужей, знакомых брата, навещали меня довольно часто, пока я почти безвыходно сидела дома; потом и я стала часто бывать у них. Они были очень добрые и простые, гораздо проще наших, хотя стояли неизмеримо выше их по всему. Но ежедневное мое общество составляли приятели брата почти все еще молодые люди, и одинокие люди, как мой брат. Меня удивляли в них две вещи.

Можно было, кажется, быть знакомой с ними целые года и не знать, какого звания кто из них, дворянин или мещанин, имеет ли довольно богатое поместье или учился на медные деньги. Все были как будто равны по происхождению и состоянию. Конечно, разницы по богатству и родству не могут быть забываемы в тех делах, в которых имеют важность. Но в простом знакомстве они вещь совершенно посторонняя, а отсутствие праздного любопытства дает обществу простоту и свободу. Еще удивительнее для меня было видеть, что брат и его близкие знакомые имеют искреннее расположение друг к другу; в их кругу не было ни злословья, ни зависти. Я увидела, что в Петербурге люди менее мелочны и хитры, нежели в провинции. Правда и то, что это был избранный круг.

Благодаря тому, что я избавилась от всяких раздражающих впечатлений и стала иметь приятный отдых, силы мои восста-

новлялись. К зиме я чувствовала себя уже довольно хорошо. Кроме часов жестокого страдания, я уже была только слаба, но могла говорить, думать, интересоваться жизнью, как другие люди.

Сначала вспоминая предсказания Левандовского, я почти пугалась того, что быстро поправляюсь. Но я была не расположена хандрить и постоянно занята. — Мы перешли жить из комнат со столом и мебелью на отдельную квартиру, обзавелись своим хозяйством. Оно поглощало у меня очень много времени, потому что я всегда любила заботы о порядке и экономии. Хорошей хозяйке в Петербурге едва ли еще не больше хлопот, нежели в провинции. — Я много читала, по большей части серьезные книги. Прежде, они почти не доходили до меня. У брата было много их; и очень легко было получать всякие, какие только вздумаешь; а разговоры нашего дружеского общества возбуждали желание узнать что-нибудь. — Почти всякий вечер, у нас бывал кто-нибудь: каждый из хороших знакомых, если хотелось ему отдохнуть, шел поболтать со мною. Я полюбила этих простых и честных людей, они меня. — Я не скучала; а настроение моих мыслей было такое холодное, что я все реже и реже смущалась предсказанием Левандовского и постепенно уверилась в спокойствии моего будущего. Зимой, я была уж очень довольна своим здоровьем. Сравнительно с другими, я, конечно, была очень плоха; а припадки истерики продолжали часто терзать мои бедные нервы. Но после прежнего постоянного страдания, что значило для меня помучиться несколько часов раз или два в неделю? — а все остальное время я была очень удовлетворительна для самой себя и делалась все удовлетворительнее. А между тем, в моих пароксизмах не было ничего, кроме простой боли; и кровь, и мысли оставались совершенно холодны. Медики напрасно приписывают себе всезнание, стала думать я: остаюсь и останусь чужда прежним волнениям.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пришло лето 1859 года. Мы жили на даче. Я была уже так сильна, что могла полчаса гулять по парку, не очень уставая.

Мы составляли маленькую колонию: через несколько дач от нас поселился Озерецкий; еще одною дачею дальше Аносов. Это были товарищи брата по занятиям, самые короткие наши приятели; я очень любила их обоих. — Теперь, на половину дней, они обедали у нас.

Рядом с нами, была богатая дача. В семействе, занимавшем ее, было три девушки, все три хорошие музыкантши. Они много пели и играли, даже и в то время, когда бывали одни. Но решительно каждый вечер у них собирались гости и по вечерам уже

непрерывно бывала музыка. Это было очень приятное для меня соседство. Но случалось, они и надоедали своею музыкою. Не всегда же бывает охота слушать ее, как бы ни любил.

Однажды, я читала после обеда. На соседней даче началась музыка. Старшая из сестер пела дуэт с одним из постоянных своих гостей, которого называли ее женихом. Мне хотелось читать, они развлекали меня. Я немножко посердилась на них, и вздумала, что все к лучшему: без них я потеряла бы в комнате прекрасный вечер: пойду в парк.

Я прошла с версту, устала и села на скамью отдохнуть. Сидела, думала, задумывалась и загрустила... Не в первый и не в десятый раз я слышала с соседней дачи дуэты, трио, и никогда мои молодые соседки и их женихи или поклонники не заставляли меня вспоминать, что и я женщина...

И теперь, когда я шла по парку, когда садилась на скамью, я думала о вещах, вовсе не романтических. Брат с утра отправился в город, смотреть квартиры. Завтра мы с ним поедем взглянуть, понравится ли и мне та, которую он выберет. Кстати, я заеду в Гостиный Двор сделать маленькие покупки. Только ли маленькие? — Есть одна очень мудреная. Аносов, обедавший ныне со мною, просил, когда поеду в город, купить чего-нибудь рублей на тридцать: он хочет послать небольшой подарок своей матери. — «Чего же купить?» — «Сама вздумайте, Лизавета Арсеньевна: чем ей лучше угодишь». «Чем же? — Вы скажите». — «Вы знаете ее по моим рассказам, вы лучше придумаете». — «Вот люди. Всегда хотят сваливать ответ на чужие плечи. Не понравится ей, тогда я виновата». — «А как же иначе жить на свете, Лизавета Арсеньевна?» — «Что ж купить ей? Разумеется на платье». — «Купите на платье, если вам так угодно: я не отвечаю». — «На платье. Но чего же?» — «Чего хотите» и отказался говорить. — Что я выберу ей? Купить ли шелковой материи на одно платье или, лучше, два шерстяные? — С этими мыслями я села на скамейку и продолжала думать. Я вспоминала, что слышала от Аносова о вкусах его матери; — ничего; о ее привычках, ее характере? — очень много; — вспоминая, вспоминая, я нашла черту, которая решила мой выбор. Ей пятьдесят пять лет, но она еще свежая, моложавая женщина и не потеряла охоты наряжаться. Поэтому, без малейшего сомнения, лучше послать ей шелковую материю и даже не темного цвета; серенький или голубой больше понравится ей... Пятьдесят пять лет и еще свежая, почти молодая женщина... А я? — прошла версту и сажусь отдыхать... Здоровье, здоровье! Где мое здоровье?...

Этим кончается рукопись. Почему та, которая называет себя Лизаветою Арсеньевной Свилиною, оставила историю своей болезни недописанною? Это расскажу когда-нибудь после.